

84728
184
ПОДВИГ



Михаил ЛУКОНИН

**ФРОНТОВЫЕ
СТИХИ**

СЕРИЯ «ПОДВИГ»

**Общественная
редакционная коллегия:**

АЛЕКСЕЕВ М. Н.

АБРАМОВ А. М.

БОНДАРЕВ Ю. В.

БОРЗУНОВ С. М.

ЖУКОВ В. С.

КАМБУЛОВ Н. И.

СТАДНЮК И. Ф.

ШКАЕВ В. В.

ПОДВИГ



Михаил ЛУКОНИН
**ФРОНТОВЫЕ
СТИХИ**

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1981

Составитель А. В. Антоненко

Художник С. А. Данилов

Луконин М. К.

Л84 Фронтовые стихи/Сост. А. В. Антоненко. — М., Сов. Россия, 1981.—224 с. — (Подвиг).

Книга Михаила Луконина (1918—1976) состоит главным образом из стихотворений, написанных в период с 1939 по 1945 год, рожденных или непосредственно в боях, или под впечатлением только что пережитого, а также стихотворений более позднего времени, в которых поэт вновь обращается мыслью к военным годам, размышляет о товарищах, о подвиге своего поколения. В книгу включены записки Михаила Луконина «о жизни в поэзии и о поэзии в жизни», которые познакомят читателя с биографией поэта, с тем, как возникал замысел и создавались известные его стихотворения.

70402—196

М-105(05)81

122—81 4702010200

P2

© Издательство «Советская Россия», 1981 г.
составление.

ФРОНТОВЫЕ СТИХИ

**Если б книгу я выдумал,
 где описал бы подробно:
крови цвет на траве;
 цвет ее на земле, на снегу,
вид убитого парня
 на черном снегу
 у разбитого дома;
описал бы подробно,
 как смерть помогает врагу, —
если б книгу такую
 я назвал
 «Фронтовыми стихами»
и она превратилась бы
 в тонну угластых томов,
то она пригодилась бы фронту:
глухими ночами
ею печь в блиндаже разжигал бы
 сержант Иванов.
Вот он печь растопил, мой сержант Иванов,
 и не спится,
руки греет над ней, удивляется, —
 ночи глухи!**

На простор снеговой

загляделась большая бойница,

месяц ходит вокруг...

Это есть фронтовые стихи!

Вот сержант Иванов

письма пишет на противогазе,

как живет,

где живет,

что дела и харчи неплохи,

что пора бы домой, —

«ждешь меня?» —

Обращаюсь с наказом:

«Ты себя береги!...»

Это есть фронтовые стихи!

Вот сержант Иванов

в атаку выводит пехоту.

Сам в цепи.

И бегут, выдвигая штыки.

Пот стирает с лица Иванов

(он устал от тяжелой работы),

улыбнулся друзьям...

Это есть фронтовые стихи!

Вот Иваново-город.

Снег идет, темновато.

В клубе «Красная Талка» собрание.

Ткачихи тихи.

Иванова, ткачиха, читает письмо от сержанта,

все встают и поют...

Это вот фронтовые стихи!

Фронтовые стихи — это чувство победы,

такое,

что идут и идут неустанно

на подвиг и труд.

Все — туда,

где земля

стала полем великого боя,

иногда умирают там.

Главное — это живут!

1943

ПОЛЕ БОЯ

Пахать пора!

Вчера весенний ливень
прошелся по распахнутой земле.
Землей зеленой пахнет в блиндаже.
А мы сидим — и локти на столе,
и гром над головами, визг тоскливый.
Атаки ждем.

Пахать пора уже!

Глянь в стереотрубу на это поле,
сквозь дымку испарений, вон туда.
Там стонет чернозем, шипит от боли,
там ползают противники труда.
Их привели отнять у нас свободу
и поле, где пахали мы с утра,
и зелень, землю, наши хлеб и воду.
— Готов, товарищ?
— Эх, пахать пора!

Постой!

Как раз команда: «Выходи!»
Зовут, пошли! Окопы опустели.
Уже передают сигнал, пора!
— Пора! Пора! —

Волнение в груди.

Рассыпались по полю, полетели,
и спинам жарко с самого утра.

Ползти... На поле плуг забытый...

Друга

перевязать и положить у плуга.

Свист пуль перескочить,

упасть на грудь,

опять вперед —

все полем тем бескрайним,
и пулемет, как плуг, держать,

и в путь —

туда, где самолет стрижет комбайном.

Шинель отбросить в сторону —

жара!

Опять бежать, спешить.

Пахать пора!..

Идти к домам,

к родным своим порогам,
стрелять в фашиста, помнить до конца:
взята деревня!

Впереди дорога,
и вновь идти от милого крыльца.
Так мы освобождаем наше поле,
родную пашню, дом,
свою весну.

В атаку ходим, пахари,

на воле,

чтоб жить,

не быть у нечисти в плену.

А поле, где у нас хлеба росли, —
любой покос и пастбище любое,
любой комок исхоженной земли,
где мы себе бессмертье обрели, —
теперь мы называем полем боя.

МАМА

Я маму не целовал давно.

Маленьким был —

целовал,

душил,

с улицы жаловаться спешил,

потом торопливо мужать решил.

Думал: «Мужество! Вот оно!»

Думал: «Мужество — это вот —

прийти домой

и сказать:

— Пока!

Я на войну!.. —

Улыбнуться слегка

и повернуться спиной к слезам,

к зовам маминым, —

на вокзал!..»

Женщина вырастила меня.

Морщины уже на лицо легли.

Губы сомкнуты. Отцвели.

Нет в глазах моего огня.

Вот фотокарточка.

Изо дня

в день

Я думаю о тебе —

моей колыбели,

моей судьбе —

женщине, вырастившей меня.

Я маму не целовал давно...
Только бы мне возвратиться лишь!..
Мама,
если меня простишь
сердцем маминым,
 решено:
я расцелую тебя одну,
сердце послушаю,
обниму,
слезы вытру,
 в лицо взгляну...
Перед тем, как уйти на войну.

1940

ПИСЬМО

А ты все плачешь —

пишут мне, —

мне все известно на войне.

А пишешь: «Я не плачу...» —

чтоб пуля не смогла

вдруг

приостановить

мои

сердечные дела.

Я потерял твое письмо

здесь где-то, на снегу.

По старой лыжне в эту ночь

вернуться не могу.

А как жило твое письмо,

волнуясь за меня,

мое убежище,

моя

веселая броня!

Оно снега укором жгло,

оно грозило, как могло,

просило: «Победи!»

Оно спасеньем залегло

в карманчик на груди.

Я потерял твое письмо

здесь где-то, на снегу.

А вдруг

оно зашелестит

и попадет к врагу?

Наткнувшись на мои следы,
он кинется за мной
по лыжне
 узенькой
 моей
тропинкою лесной.
И лыжи черные его,
слетая
 с вышины,
перевернут
 твое
 письмо
перед лицом луны.
Обрадуется белофинн,
язык ему знаком.
Твой почерк, освещая,
он разберет тайком.
И позавидует он мне,
метнется
 по моей
 лыжне...

Твое письмо верну я —
тут, прислонясь к сосне.

1939

Ночью

лыжи шипят:

молчи!

Лес выслушивают враги.

Друзей береги,

себя береги,

спичку теплую не зажги,

тихо,

тихо,

ступай в ночи.

От беды — головою в снег,

так,

чтоб снег,

не дыша, сверкал,

так, чтобы снайпер не отыскал.

Не закрывай утомленных век.

Спи —

с тобою противогаз,

спи —

под голову автомат.

Идешь —

вокруг погляди не раз,

крадешься —

каску надвинь до глаз.

Ты в сражении! Ты — солдат!

Как об этом другим скажу?

Там, когда я домой вернусь,

им подумается:

«Не трус?

Себялюбивый какой — боюсь!»

А я —

себялюбивый какой!

Мне приказал командир, —

я мог

в рост под пули пойти, дымок

взрыва закружился б у ног.

Только ведь я люблю тебя,

жизнь —

действительность и мечты,

жизнь понравилась мне

и ты,

книжек тоненькие листы,

площадь Пушкина и мосты.

И для того, чтобы жить с тобой,

радоваться с тобой, мечтать,

должен был я с винтовкой встать,

версты военные перелистать,

хитро ползти,

принимая бой.

Должен был победить в борьбе,

свободу свою отстоять

и жить,

тебя любить, с друзьями дружить...

Дорого я обхожусь себе!

Дорого я обхожусь стране!

Ради победы

и ради нас,

чтоб жил я,

а не умирал на войне,

вместе с винтовкою

в этот час

мне выдали каску и противогаз.

1939

НАБЛЮДАТЕЛЬ

В жизни я наблюдать любил.

Бывало, идешь, глядишь, —

Волга вечером,

Волга, тишь,

волны выносят ил.

Волны камешками стучат,

баржи идут вдали.

В степь выходил —

цветы замечал,

белые ковыли.

В Москве —

любил по Москве ходить,

вдруг, изменяя путь,

девушку пристально оглянуть,

с прохожими заговорить.

Или вдруг, притаясь, как вор,

весь превратившись в слух,

тихий выслушать разговор

самых влюбленных двух.

Так ко мне приходили стихи...

Я, притаясь в снегу,

вижу, как не везет врагу,

дела у врага плохи!

Слышу — ругается белофинн,

язык искажая мой.

Гранатой хочется разрывной,

но — тихо!

Лежи.

Один.

Так, дыхание затая,
все вокруг наблюдай!

Не шевелись!

Все передай! —
вот специальность моя.

Я жил у Москвы-реки,
я не думал, страна,
что поэзия и война
так предельно близки.
Я обязательно буду жив,
я по жизни пройду,
не так —

в рассеянности,
в бреду,
праздно руки сложив.
Я пойду по тебе, земля,
любую открою дверь,
свои заводы,
свои поля
ты мне предоставь, поверь.

1940

ПО ДОРОГЕ НА ВОЙНУ

Холодно.

Холодно.

Холодно.

По́ снегу, по́ лесу
едем мы
до полуночи с полудня
на войну, как к полюсу.

А когда мы остановились,
стало томительно с непривычки.
Нас стали разводить по домам.
Мы обшарили стены, обчиркали спички,
покамест дверь не открылась сама.
Мы вошли, от тепла онемев,
и холод пролез за нами.
Сняли заиндевелые каски.
Они, загремев,
устроились рядом с домашними чугунами.
Нас за стол посадила хозяйка.

А мы
ложки отыскиали за голенищами.
Слушали говор карелов,
услышали: ищет
нас за темными окнами

непогода зимы.
А когда отошли, оттаяли, отогрелись,
прочли на стеклах:

мороз до пятидесяти!

Разговорились:

— И как это терпят в Карелии!

Не война бы — так нам

ни за что и не вынести!..

— Что, морозно?

— Да так, ничего, — отвечаем.

Появился старик

(он спал в другой комнате)

и сказал,

что морозец к утру покрепчает.

— Переночуете, может?

Куда вы!

Замерзнете!

А пока мы молчали обиженно,
и в тишине выюга стала заметней,
карел хвалился широкими лыжами
давности тридцатилетней.

А потом рассказал о таком холоде,
который, пожалуй, больше не повторится.

— Было это

назад за тридцать,
в лесу и сейчас

есть сосны расколотые.

Много было всяких морозов потом,
но не было более сильного.

Тогда, в такую же полночь,
в наш дом

привели русского ссыльного.

Мороз ему щеки дорогой выжег,
выбелил голые пальцы,
он все-таки вынес,

выжил,

не сдался.

Вот это —

его лыжи.

А ведь не на войну шел!

И не такое на нем...

Но мы уже каски отыскивали,
а за окнами,

между машинами рыская,
уже помахивали фонарем.

Мы прощались.

— Прощайте,

прямого пути!

Я не пожелаю вам лучшего самого.

После войны

вам к ссыльному моему подойти, —
и показал на сосновую стенку глазами.

Мы застыли у порога,

удивлены
глазами в очках, знакомыми,

и бородкою клином.

Смотрел на нас

Михаил Иванович Калинин.

Мы подумали:

«Что ж,

это было в начале

нашей войны!»

1939

Я жалею девушку Полю.

Жалею

за любовь осторожную:

«Чтоб не в плену б».

За:

«Мы мало знакомы»,

«не знаю»,

«не смею»...

За ладонь, отделившую губы от губ.

Вам казался он:

летом —

слишком двадцатилетним,

осенью —

рыжим, как листва на опушке,

зимою

ходит слишком в летнем,

а весною — были веснушки.

А когда он поднял автомат, —

вы слышите?

Когда он вышел,

дерзкий,

такой, как в школе,

вы на фронт

прислали ему платок вышитый,

вышив:

«Мсему Коле!»

У нас у всех

были платки поименные, —

но ведь мы не могли узнать,
двадцатью зимами,
что когда
на войну уходят
безнадежно влюбленные —
назад приходят
любимыми.
Это все пустяки, Николай,
если б не плакали.

Но живые
никак представить не могут:
как это, когда пулеметы такали,
не встать,
не услышать тревогу?
Белым пятном
на снегу
выделяться,
руки не перележать и встать не силиться,
не видеть,
как чернильные пятна
повыступали на пальцах,
не обрадоваться,
что веснушки сошли с лица?!

Я бы всем запретил охать.
Губы сжав — живи!
Плакать нельзя!
Не позволю в своем присутствии плохо
отзываться о жизни,
за которую гибли друзья.

Николай!
С каждым годом
он будет моложе меня,
заметней

постараются годы

мою беспечность стеречь.

Он

останется

слишком двадцатилетним,

слишком юным,

для того чтобы дальше стареть.

И хотя я сам видел,

как вьюжный ветер, воя,

волосы рыжие

на кулаки наматывал,

невозможно отвыкнуть

от товарища и провожатого,

как нельзя отказаться

от движения вместе с землею.

Мы суровеем,

друзьям улыбаемся сжатыми ртами,

мы не пишем записок девочкам,

не поджидаем ответа...

А если бы в марте,

тогда,

мы поменялись местами,

он

сейчас

обо мне написал бы

вот это.

1940

ХОРОШО

Хорошо перед боем,
когда верится просто
в то,
 что встретимся двое,
в то,
 что выживем до ста,
в то,
 что не оборвется
все свистящим снарядом,
что не тут разорвется,
дальше где-нибудь,
 рядом.
В то,
 что с тоненьким воем
пуля кинется мимо.
В то,
 чему перед боем
верить
 необходимо.

1942

ДОМОЙ

Березы совсем пожелтели,
задумались и застыли.
Прошлые две недели
косые дожди частили.
Мокренькая погода,
дождик в окопе страшен.
А сколько разлуке нашей?
Год и еще полгода.
А где наш город? Не знаю,
никак не представишь толком,
там свет из высоких окон
и дождик по водостокам.
Там, видно, зима уже,
там на кроватях спят.
А в нашем блиндаже
все так уснуть хотят.
А где наша комната? — Далеко.
А где ты сама? — Далеко.
А радио плавает так легко
в поисках Сулико...

Ветер принес снежок,
запахло вдруг зимой.
Мне в госпитале сказали:
— Даем три дня — домой!
— Куда?
— Домой.

В квартиру
на речке тыловой. —

Куда? — переспросил я.

Ответили:

— Домой. —

Я звал дорогой к дому
тропинку к блиндажу,
и мне придумать надо,
что я, входя, скажу.

Постойте, дайте время,
не дни, а годы мне,
скажите, что отвечу
родимой стороне?

1942

В ВАГОНЕ

Как странно все-таки: вагон.
Билет. Звонок. Вокзал. Домой.
И свет и гром со всех сторон.
Колеса бьются подо мной.
Шестнадцать месяцев копил
я недоверие к тому,
что кто-то жил, работал, был,
болел и спал в своем дому.
Шестнадцать месяцев подряд
окопом все казалось мне.
В вагоне громко говорят
о керосине и вине.
А у меня всего три дня.
Я вслушиваюсь в их слова.
Вздыхают, горестно кляня
дороговизну на дрова.
А мне ведь дорог каждый час.

Жилет раскинув меховой,
я по вагону, напоказ,
пошел походкой фронтовой.
Я был во всей своей красе
(блестит на левой стороне!).
— Оттуда? — спрашивают все. —
Да, тяжело вам на войне... —
Шел, улыбался и кивал,
молодцеватый и прямой.
— В боях бывали?
— Да, бывал.

— Куда же едете?
— Домой!
— Из госпиталя? На, сынок... —
Беру, жую мякинный кус.
— Кури. —
Глотаю я дымок,
соломой отдает на вкус.
— Ложись, устал...
Мы ничего,
мы тут пристроимся в углу.
У вас там трудно с ночевой,
мы перебьемся. Мы в тылу.
— Ложись и спи...
— Слаба кирза,
как они там зимой, в бою! —
Прикрыла женщина глаза,
упрятав ноги под скамью.
— Спи...
— Все живем одной бедой.
Спит. Исхудал-то как, солдат...
А был я просто молодой.

1942

Получил письмо я:

«Как живете?» —
спрашивает Соня Милиоти.

Это даже странно — «как живу»,
не спросила первая «живу ли?»,
не упал ли я от медной пули
желтыми глазами в синеву.

Жив ли я? Живу я? —

Всем в ответ

шлю, листочки запечатав.

— Жив! — кричат мне тысячи примет.

Пусть про это скажет Наровчатов.

Метились в меня.

Сидели в доте.

Танки гнали. Мерзли. Ни к чему —
я хожу, шепчу слова, живу.

«Как живу?» — спросила Милиоти.

Так поверила в мою звезду,
знает — жив, мне жить необходимо,
значит — мины мимо, пули — мимо.

Значит, верит — я еще приду!

Мну сугробы и топчу траву.

Ты спроси, ревнуя и тоскуя:
как живу?

О чем?

За что живу я?

Чем живу?

Спроси — о ком живу?

1942

Перед боем на рассвете
тишина.

И, как бывало,
по испытанной примете
нам кукушка куковала.
Мне года узнать охота —
дай, кукушка, мне ответ:
жить на этом белом свете
сколько мне осталось лет?
Только тут

из пулемета
очередью грянул кто-то.
Я прислушивался —
нет,
нет моих веселых лет.
Свистнули по свету пули,
и опять пошла война.
Не считается —

спугнули!

Не кукушкина вина.
Я не признаю ответа.
У кукушки не всегда
получаются года.
Как ты смотришь?
Ерунда,
правда?
Глупая примета.

1943

В ЕЛЬЦЕ

Пленный пляшет.
Молодой еще немец.
Руки в рукава,

подняв невысокий ворот.

Ночь идет по Ельцу,
не успевая за теми,
что в атаку идут, открывая задымленный город.

Дом полуразрушен.
Рассвет освобождение приблизит.
Толпятся разведчики, бодрствующие ночами.
Пришли с донесением к командиру дивизии,
за столом —

начальник политотдела Качанов.

Он слушает донесение и спрашивает: «Скоро?»
Скоро город будет освобожден.
Ожидая допроса,
в зеленых шинелях

в полутьме коридора

пляшут словоохотливые пленные,
шмыгают носом.

Город осыпается трескотней пулеметной.
Автоматчики у тюрьмы, засели на колокольнях.

Город наш. Рассвет начинается. Вот он!
Люди выходят, прищуриваясь невольной.
Пленный жметя к стене,

а разведчики — мимо.

Автоматчик с забинтованной рукою
покуривает рядом.

— Что, замерз? У нас на Орловщине зимно!

Идет к командиру, —

и показывает прикладом.

Город освобождается. Уставший. Продымленный
за ночь.

Пленный глядит на людей, как на диво.

Пляшет и пляшет, заискивая глазами.

— Капут, капут, — повторяет он торопливо.

— Брось скулить!

— говорит автоматчик. —

Надорвешься до грыжи.

«Капут» — не подлизывайся,
привычка, наверно.

«Капут, капут», — и пододвигается ближе: —

А зачем стрелял в меня на улице Коминтерна?

1941

Гудит обиженный войною
заглохший, беспризорный сад.
Но он всемогущ над мною.
Иду —
в саду глаза горят.
Она — у яблони. Я скован.
Стою и шагу не ступлю.
Позор.
А впрочем, что такого,
ведь я же яблоки люблю!
Я палкой обиваю ветки,
плоды незрелые ловлю.
Она смеется: «Ты не меткий».
А я же яблоки люблю.
Так и живу шумящим садом.
Вокруг война — за годом год.
Мне губы сводит белым ядом,
а сердце яблоней живет.
В разгаре дня мне нет покоя,
нет сил, опять туда иду,
я помню дерево такое...
Смотрю — она уже в саду.
Наверно, на меня в обиде
война.
Но я не отступлю.
Клянусь, что я ее не видел,
я просто яблоки люблю.
В руках моих ветвей вязанка,
трясу. Смеется белый бес.

Мальчишка шел и ахнул:
— Глянь-ка,
Солдат на дерево залез! —
Да если б знал он, несмышленыш!
Но трудно мальчику вдолбить
то, что и сам узнал потом уж:
как можно яблоки любить!

1943

Иду.

Решаю.

Передумываю то и дело,
А лето цветное проходит мимо.
Вспоминаю о том, как умирают смело,
но — жизни

тоже

смелость необходима!

Жизни тоже мужество надо,
не поза.

Я помню, как, захватив две гранаты,
к «тигру»,

оборвав себя на полуслове,

вышел Морозов,

и дымом окутался танк полосатый.

Все-таки странно — разные люди,
прямо приходится удивляться:
одни

на танки выходят грудью,
другим

не хватает силы признаться.

Третьи —

тоже военные,

в звании,

ходят, волнуются, не спят до пяти,
мямлят,

топчутся с кулаками в кармане

и не находят мужества

просто уйти.

Иду.

Удивляюсь.

Глаз от бессонницы розов.

Фронтальная дорога,

подбитые танки во рву.

Дай мне силы,

командир отделения Морозов.

Постой. Я справлюсь.

Возьму и взорву.

1943

Когда обрывается мечта
 и жизнь больше не повторится,
 боль наступает, как слепота,
 не видишь,
 не можешь отсторониться.
 Иду без тебя, слова непривычно тая.
 Пусто средь боя, тихо так.
 Где-то голосит петухами моя,
 моя последняя
 Лиховка¹.
 Саша, как ты упал небывало,
 и тебя понесло, понесло, понесло.
 Туда,
 где и так уже наших немало,
 у кого же спрошу я.
 какое сегодня число?
 Жизнь, моя жизнь,
 преступник я лживый и верткий,
 все уплывает, уходит, теряет красу,
 а я слова любимые расходуя на обертки
 и редкие чувства.
 как воду, в ладонях несу.
 карабкаюсь, как котенок, по древу жизни,
 ветер сшибает.
 Двадцать четвертый идет.
 Начинаю сначала,
 самоуверенный и капризный.

¹ Село на правом берегу Днепра, где погиб
и похоронен мой товарищ.

А ветер какой на планете!

Наверно, собьет.

Саша,

**ходить бы тебе не спеша по вселенной,
по-сибирски прищуриться —**

чтобы в меру смотреть.

Ходить и ходить бы тебе

**по земле неизменяющей и неизменной,
радоваться.**

И радовать.

Ошиблась неумная смерть.

Саша,

вчера только утро твое начиналось,

**и разделены-то мы были
плетневой всего городьбой.**

Ты бы крикнул мне,

продержался бы малость,

я бы только простился.

Потом поменялся с тобой.

1943

ОСЕНЬ

Зори опять холодеют,
морщатся лужицы,
красными вихрями закружились закаты.
Дубы желтеют.

Листья падают, кружатся.
Облака развешаны, как плакаты.
Обгоревшие печи застыли.
Тепла им не надо.

Село притихло.
Не возвращается стадо.
Но утро приходит!
Мы дальше идем вдоль заборов.
На каланче у самой зари
развевается знамя.

Осень, осень!
Смотри — над Днепром задумался город.
Это Киев! Это Киев пред нами!
Вот над Киевом знамя!
Солнце остывает, как блюдо.
Но люди выходят.
Прекрасны и праздничны лица.

**Дома отепляют,
 солому везут
 и смеются:**

скоро
и лужи,
и небо,
и окна —
все застеклится!

А мы уходим!

**Поля вокруг пожелтели,
то солнце пригреет,
то обдаст мокроватая стужа.**

**Но нам ничего. Мы получили шинели
и, складки расправив, подпоясались туже.**

**А в перелесках
по листьям
вода дождевая струится.**

**Орудия бьют.
По отсыревшей дороге
бредут под конвоем посиневшие фрицы,
и русская осень плюет им под ноги.**

1944

Такой,
тебя в метро увидев, вдруг
протянет руку,
и пойдет потом,
и даже не подумает о том,
какое счастье
выронил
из рук!

Да нет,
другой тебя не разглядит,
все мимо,
все торопится, чудак.
Ведь у него не ты живешь в груди...
О, слава милой,
если это так!
Я это сочинил,
сбираясь в путь,
придумал это —
так уж повелось,
чтоб этой сказкой душу обмануть,
чтоб с этой сказкой легче мне жилось.

1944

Что-то писем долго нет,
видно,

 письма есть другому.
Сколько расставанью лет?
Кто придумает ответ
человеку фронтовому?
Часто видится о том,
все о том —

 идет к другому,
и ресницами заденет
за глаза его.

 Тревожит,
что глазами просто взглянет
удивленно, как тогда,
легкая, почти без слов...
Так не может быть,

 не может;
это, видно, просто память
маловероятных снов.
Нет, нехорошо не верить,
непростительно вдвойне
человеку на войне,
человеку молодому,
фронтовому,
то есть — мне.

1942

Мне улыбнулись. —

Даже странно,
что так поглядываю строго.
А я сижу на чемоданах —
меня зовет к себе дорога.

Пройдет поклонница.

Поклонится

и улыбнется,

так — не строго.

А мне не хочется знакомиться —
меня зовет к себе дорога!

— Пусти! — кричу я, негодуя. —

Туда, где нас

и дружбы много,

туда,

где ветер боя дует, —
меня зовет к себе дорога.

1943

Провожали меня, встречали,
с поля боя, на поле боя.
Не давалось нам так вначале,
чтобы мы оставались двое.
Не случалось таким приказам
на поверхность бумаг являться,
чтобы мы уезжали разом,
чтобы некому оставаться.
Так устроено между нами,
что один — проводить обязан,
оставаться с плохими снами,
к городам и делам привязан.
Обязательно так бывало,
что один уезжал по праву,
а другой по горячим шпалам
шел, махая, вослед составу.
Много раз уезжал я снова,
и мешались в колесном стуке:
провождение — все до слова,
проводящих родные руки.
И недавно совсем, ребята,
стало мне наконец понятно:
лучше мне уезжать куда-то,
чем идти, проводив, обратно.
Лучше мне проходить дорогой,
незнакомой, весенней, ранней,
чем тебе жить моей тревогой,
слабым светом моих посланий.

Дорогие друзья!

**Да будет
вечно счастлив на этом свете,
кто проводит и не забудет,
кто дождется, увидит, встретит.
И да здравствует счастья дата —
час, когда на краю перрона
тех, кто нас проводил когда-то,
мы найдем из окна вагона!**

1943

ДОРОГИ

Я шел, весной растроганный,
не на весенний лад еще —
весь в шубе, в шапке стеганой.
И вдруг —

увидел кладбище!

Весной

такое строгое!..

Но удивляться нечего.

А сердце что-то дрогнуло,
догадкою отмечено.

Сюда сходились медленно,
веками, осторожные.

А нас пускать не велено —
мы жители дорожные!

У нас дома — с колесами,
на гусеницах,

с крыльями.

Шаги считать мы бросили,
все в километрах, милями.

Мы едем, едем родиной,
плывем, плывем Отчизною,
и сколько за день пройдено,
зовем мы целой жизнью.

Но наше местожительство,
но города родимые
из памяти не вытеснят
дороги наши дымные.

1943

ЮНОСТЬ

Серое небо хмурится,
отяжеленное снегом.
Лежит безмолвная улица
под этим высоким небом.
Застывшие перелески —
без имени, без названия.
Как дым из труб деревенских,
тянутся воспоминания.
Завтра пойдем мы в школу
дорогой чистой и ровной,
между серебряных елок
в царствии подмосковном.
Поедем потом на валенках,
будем драться снежками.
(Лепить холодных и маленьких
розовыми руками.)
Метнуть бы при свете месяца
в этого злого мальчика!
Но слезы мешают метиться,
и заломило пальчики.
Снежки становились теплыми,
потом в ладонях растаяли.
Сказки наши захлопнулись
резными железными ставнями.
Покамест снежинки падали,
коса расплеталась девичья.
Царевну замуж просватали.
Позвали на бой царевича...

Но юность

у сердца бьется,
в блиндаж по ночам стучится.
Она не уйдет — дождется, —
ничего не может случиться.
Юность моя небывалая
снегом лежит нетающим,
как зима запоздалая
на висках у товарища.
Будет еще развязка,
и мир будет свеж и светел.
Да здравствует наша сказка,
юность, и снег, и ветер!
Слава друзьям настоящим,
дружбы обычай древен.
Да здравствует снег,
хрустящий
у ног дорогих царевен!
Смотри — земля застучала
и вода зазвенела.
Да здравствует все сначала —
дерзко, весело, смело!

1942

ПРИДУ К ТЕБЕ

Ты думаешь:
принесу с собой
усталое тело свое.
Сумею ли быть тогда с тобой
целый день вдвоем?
Захочу рассказать о смертном дожде,
как горела трава,
а ты —
и ты жила в беде,
тебе не нужны слова.
Про то, как чудом выжил, начну,
как смерть меня обожгла,
а ты, ты в ночь роковую одну
Волгу переплыла.
Спеть попрошу,
а ты сама
забыла, как поют.
Потом
меня
сведет с ума
непривычный уют.
Будешь к завтраку накрывать,
а я усядусь в углу.
Начнешь,
как прежде,
стелить кровать,
а я
усну
на полу.

Потом покоя тебя лишу,
вырою щель у ворот,
ночью,

вздрагнув,

тебя спрошу:

— Стой! Кто идет?!

Нет, не думай, что так приду.

В этой большой войне

мы научились ломать беду,

работать и жить вдвойне.

Не так вернемся мы!

Если так,

то лучше не приходить.

Придем — работать,

курить табак,

в комнате наладить.

Не за благодарностью я бегу —
благодарить лечу.

Все, что хотел, я сказал врагу.

Теперь работать хочу.

Не за утешением —

утешать

переступлю порог.

То, что я сделал,

к тебе спеша,

не одолжение, а долг.

Друзей увидеть,

в гостях побывать

и трудно

и жадно

жить.

Работать — в кузницу,

спать — в кровать.

Слова про любовь сложить.

В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.

Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой.

1943

Ты в эти дни жила вдали,
не на войне со мной.
Жила на краешке земли.
Легко ль тебе одной!

Три лета, три больших зимы
просил: — Повремени! —
Теперь я рад, что жили мы
в разлуке эти дни.
Теперь хочу тебя просить:
— Будь той же самой ты,
чтоб было у кого спросить:
«А как цветут цветы?
А что же нет окопа тут,
что ночи так тихи?
А где,
 когда,
 на чем растут
хорошие стихи?»
Чтоб объяснила: «Вот река.
(Как я просил: «Воды!»)
А вот на трубочке листка
есть гусениц следы.
Чтоб я поднялся в полный рост,
узнав из милых слов,
что нету пулеметных гнезд, —
есть гнезда воробьев.

Чтоб я,
покамест я живу,
увидел: жизнь сложней!
Чтоб я
и счастье
и беду
сердечные
узнал.
Чтоб я не понимал траву
как средство
скрыться в ней
или упавшую звезду
не принял за сигнал.

Шалун уронит барабан,
гроза пройдет в окне,
метель пройдет по дворам, —
я вспомню
о войне.

А ты догадку утаи,
так все сумей понять,
чтоб я
взглянул
в глаза твои
и мог любить опять.
Ведь в эти взорванные дни,
в дышащий местью час
был должен
к празднику хранить
любовь один из нас.
Хвалю прощание свое,
что мы разделены,
что мы не вместе,
не вдвоем

в разлуке

для войны.

Хвалю,

что ядовитый дым
не тронул глаз твоих!

Того,

что видел

я один,

нам хватит

на двоих.

1943

ШВАРЦВАЛЬД

Мы ломаем ногами валежник лежалый.
Он пожаром бы мог встрепенуться, пожалуй.
Только мы не курили.
Мы идем через лес.
И единственно, что тут могло загореться:
гневом — наши глаза.
Мужеством — наше сердце.
И горели!
Да как!
От земли до небес!

Мы ломаем ногами валежник Шварцвальда.
Мы молчим.
Нам ни песен,
ни сказок не надо,
как услада
идти по земле по самой,
шагать по Шварцвальду,
по чаще дубовой,
прикладом о ствол не ударить!
И снова —
в направлении от дома,
и все же — домой.

Шварцвальд?

Почему он не черный, ребята?
Как всякий — рогатый, цветной, суковатый.

Зачем нас пугать,

раздувая беду!

По всем направленьям с боями кружили,
прошли Померанию всю мы —

а живы!

В Шварцвальде светло!

И Берлин на виду!

Постойте, — сказал я, —

давайте отметим! —

Мы бьем топором, чтобы в новом столетье
немецкие дети в Шварцвальде своим
прочли бы на этом стволе необъятном:
здесь мы проходили в году сорок пятом.

Идем мы,

ломаем валежник лежалый.

— А скоро мы выйдем?

— К рассвету, пожалуй!

1945

Мы сидим на косилке

у магазина

сельскохозяйственных машин и орудий.

Мы глядим на сраженный город, а мимо,
пройдя сквозь каменоломню Берлина,
идут советские люди.

День мира!

Солнце за облаком щурится,
а под открытым небом

стоят обгоревшие печи.

Кажется,

немцы решили отапливать улицы,
но топить незачем.

День мира!

Дождь развешал капли.

Подрывники выгребают последние мины.

Птицы откуда-то поналетели.

Мы сидим у сожженного магазина

сельскохозяйственных машин и орудий.

Нам приказано — не стрелять!

— Ну что ж, понятно! —

Мы ставим винтовки между колен, —

стрелять не будем. —

Мир пришел! Закуривайте, ребята!

Мы смогли,

мы смогли к этому часу пробиться.

Мы шли и шли за своим командиром...

Нам давно известна наша традиция:
только в час победы

начинается день мира!

Мы сидим, удивленно переглядываясь,
как после долгой разлуки. Что-то переменилось!
— Что случилось? Не знаешь? Не угадываешь?
Угадываешь! —

И смеемся задумчиво: все-таки что-то случилось!
О, что я вспомнил!

Я сразу ловлю, как в прятках,
противогаз

и веду его на колени.

Вот она,

смятая ученическая тетрадка —
запись моих далеких,

далеких волнений.

Тетрадь стихов о любви —

я помню слабо, —

как я давно не читал запись неистовую.

Я беру плуг,

переворачиваю его набок,
на лемех тетрадку кладу

и перелистываю:

«Я просыпаюсь — четыре стены» —

вот начало.

Четыре стены! —

вот начало тревоги!

Четыре стены! —

как это все-таки мало

юности,

для которой

мир по экватору —

это немного!

Мы победили! Мы победили!..

Я слышу,
кто-то шагнул на косилку и обнял по-братски.
Вот у самого уха сдавленно дышит.
Я обернулся так, что мы стукнулись касками.
— Вася! Ты что?

Нет, это не письма, а впрочем —
это письмо, понимаешь,

от юности нашей.

Почитай, почитай наше далекое очень...

— Нет, — говорил он, —

я влюблен в настоящее.

— С победой!

С победой!

День этот будет отмечен
в истории! — говорит он запальчиво
и встает, опираясь на мои плечи. —
Вот что случилось —

мужчинами стали мальчики!

Вот что случилось —

жизнь начинается следом.

Счастье наше в борьбе мы отстояли от казни.
Мы вышли к великому счастью.

Победа!

Эго открылся нашей улицы праздник!
Какое сегодня?

Девятое?

Вот как?

Девятый вал! —

Я стряхиваю дождевые росинки.
— Мы победили!

Пойдем! —

Он надевает винтовку
и решительно переводит рычаг на косилке.
Как вчера мы поднимались в атаку, я вспомнил:

от танка к танку волнение носило ветром,
и расстояние до мира, до полной победы
исчислялось не днями,

не временем —

сотнею километров!

Я теперь думаю:

«Уж если сумели пройти мы четыре года,
от схватки до схватки,
если сумели преодолеть притяжение земли

и жизни,

то теперь мы готовы пройти по любому меридиану
и выстроить счастье победившей Отчизны».

Какая лётная погода!..

1945

Когда нас друг от друга отнесло?

Не в мае ли?

Мы, загрустив, стояли...

Светило ль солнце в этот день?

Едва ли.

Была метель. Пустынно и бело.

С тех пор мне месяц май — одно число.

А вот еще другое вспоминаю:

под пулями я маюсь и бреду

на ледяном ветру.

Иду в бреду,

и кровь течет...

Когда? В каком году?

Да говорят, что это было в мае!

Зато письмо твое передадут.

Иду. Читаю. Снег летит и ветер.

Что — снег?

Да нет — цветы в веселом свете.

Какой январь, когда сады цветут?!

А это в мае?

Лыжи завизжали

в тяжелую хрустящую пургу.

Все в майские костюмы наряжались,

все в белом на сверкающем снегу.

Бежали и стреляли на бегу.

Сбегали к Дону

в снеговой пыли,

и в воду — раз!

Плывем,

руками машем...

Вода ли это? Ледяная каша!

Цимлянскую отбили на заре.

Когда был май вот этот?

В январе!

Зима ли, лето —

что нам время года?

Война!

Зимою, летом — не гляди.

Когда зовут — в атаку выходи!

Смешно спросить:

какая там погода?

Я маем только радость называю.

Мой май —

шагнул на запад по земле,

мой май —

письмо на узеньком столе.

А мой январь —

разлука наша в мае.

Мы дожили до майской красоты.

До Первомая нашего святого!

Теперь видать, что снег, а что цветы,

где ты,

в январь ли, в май ли входишь ты,

как выглядишь теперь ты в платье новом.

Свершилось это.

И теперь, как встарь,

май будет в мае,

в январе — январь.

1945

ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ

Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами,
нам, пришедшим с войны.

Нет, не это.

Нам надо,
чтоб ступила нога
на хлебные степи,
на цветные луга.

Не жалейте,

не жалуйте отдыхом нас,
мы совсем не устали.

Нам — в дорогу как раз!

Не глядите на нас с умилением,
не

удивляйтесь

живым.

Жили мы на войне.

Нам не отдыха надо

и не тишины.

Не ласкайте нас званьем:

«Участник войны»!

Нам —

трудом обновить

ордена и почет!

Жажда трудной работы

нам ладони сечет.

Мы окопами землю изрыли,
пора
нам точить лемехи
и водить трактора.
Нам пора —
звон оружия
на звон топора,
посвист пуль —
на шипенье пилы
и пера.

Ты прости меня, милая.
Ты мне жить помоги.
Сам шинель я повешу,
сам сниму сапоги.
Сам тебя поведу,
где дома и гроза.
Пальцы в пальцы вплету,
и глазами — в глаза.
Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.

1945

МОИ ДРУЗЬЯ

Госпиталь.

Всё в белом.

Стены пахнут сыроватым мелом.

Запеленав нас туго в одеяла

и подтрунив над тем, как мы малы,

нагнувшись, воду по полу гоняла

сестра.

А мы глядели на полы.

И нам в глаза влетала синева,

вода, полы...

Кружилась голова.

Слова кружились:

«Друг, какое нынче?

Суббота?

Вот, не вижу двадцать дней...»

Пол голубой в воде, а воздух дымчат.

«Послушай, друг...» —

И все о ней, о ней...

Несли обед.

Их с ложек всех кормили.

А я уже сидел спиной к стене,

и капли щей на одеяле стыли.

Завидует танкист ослепший мне

и говорит

про то, как двадцать дней

не видит. И —

о ней, о ней, о ней...

— А вот сестра,

ты письма продиктуй ей!

— Она не сможет, друг,

ТУТ СЛОЖНОСТЬ ЕСТЬ.

— Какая сложность? Ты о ней не думай...

— Вот ты бы взялся!

— я?

— Ведь руки есть?!

— Я не смогу!

— Ты сможешь!

— Слов не знаю!

— Я дам слова!

— Я не любил...

— Люби!

Я научу тебя, припоминая... —

Я взял перо.

А он сказал: — Родная! —

Я записал.

Он: — Думай, что убит... —

«Живу», — я написал.

Он: — Ждать не надо... —

А я, у правды всей на поводу,

водил пером: «Дождись, моя награда...»

Он: — Не вернусь...

А я: «Приду! Приду!»

Шли писъма от нея. Он пел и плакал,

письмо держал у просветленных глаз.

Теперь меня просила вся палата:

— Пиши! —

Их мог обидеть мой отказ.

— Пиши!

— Но ты же сам сумеешь, левой!

— Пиши!

— Но ты же видишь сам?!

— Пиши!..

Всё в белом.

Стены пахнут сыроватым мелом.

Где это все? Ни звука. Ни души.

Друзья, где вы?..

Светает у причала.

Вот мой сосед дежурит у руля.

Все в памяти переберу сначала.

Друзей моих ведет ко мне земля.

Один мотор заводит на заставе,

другой с утра пускает жернова.

А я?

А я молчать уже не вправе.

Порученные мне горят слова.

— Пиши! — диктуют мне они.

Сквозная

летит строка.

— Пиши о нас! Труби!..

— Я не смогу!

— Ты сможешь!

— Слов не знаю...

— Я дам слова!

Ты только жизнь люби!

1947

ДНИ СВИДАНИЙ

Когда на родине опять
я вспомнил дни разлук,
я вспомнил эшелон,
и вас,
и город ранний
четыре лета и зимы назад...
Я задохнулся вдруг
и, радостью подхваченный,
вошел в дни свиданий.
Тут я увидел пограничный ручеек
в районе Бреста,
как паровозный дым садится
на мокрую траву
и сосны брянские,
что посмотреть меня
тронулись с места.
На удивленное: «Живешь?» —
я ответил: «Живу!»
На улицы меня Москва
приподняла, как на руки,
и я увидел мирный мир,
и небо на рассвете,
в окнах — свет,
из труб — дым,
заснеженные парки,
и вас,
и ваше счастье...
Когда я все заметил,
тогда подумал:

«Если бы,
для того, чтобы видеть это,
вдруг нужно было опять идти
на смертный круг
и нужно было опять повторить:
четыре зимы и лета, —
я б дни свиданий оборвал
и снова —
в дни разлук».

1945

КОГДА Я ПРИШЕЛ

Когда я пришел,
я был в форме красноармейца.
Так и хотелось шагнуть по-военному —
шире.
Я так и шел,
но захотелось переодеться
в штатское
и походить по квартире.
В одежде красноармейца
удобно мне было:
я шел не один,
когда оружие выло,
я лежал на снегу,
и кровь не стыла,
я стрелял по врагу —
и убедительно выходило.
Когда я пришел,
стихи вырывались тревожно,
снилось так,
что кипело на сердце.
Приходили строчки,
спрашивали: «Можно?»
Подбегали к зеркалу:
«Можно нам посмотреться?»
Плавали ритмы,
они были еще не измерены,
плавные — воздухоплавательных аппаратов,
быстрые — ритмы улицы.

**Приходили герои с холода,
 не закрывали двери,
я сердился:
 «Захлопните!
 Видите — плохо рифмуются...»**

**Но однажды я вспомнил
 про красноармейскую форму:
 как удобно мне было!**

**Как лежал на снегу,
 и кровь не стыла,
и как стрелял,
 и как убедительно выходило!**

**Я вспомнил красноармейскую форму
 и даже
подпрыгнул от радости
 и побежал, чтобы согреться.**

**Это был ритм!..
И я записал тогда же:
стихотворению форма нужна такая,
 как на красноармейце.**

1945

СТАЛИНГРАДСКИЙ ТЕАТР

Здесь львы
стояли
у крыльца
лет сто
без перемен,
как вдруг
кирпичная пыльца,
отбитая дождем свинца,
завьюжила у стен.
В фойе театра
шел бой.
Упал
левый
лев,
а правый
заслонил собой
дверей высокий зев.
По ложам
лежа
немец бил
и слушал долгий звон;
вмерзая в ледяной настил,
лежать остался он.
На сцену —
за колосники,
со сцены —
в первый ряд,
прицеливаясь с руки,

двинулся наш
отряд.
К суфлерской будке
старшина
припал
и бил во тьму.
И
история сама
суфлировала ему.
Огнем поддерживая нас,
в боку зажимая боль,
он без позы и без прикрас
сыграл
великую
роль.
Я вспомнил об этом,
взглянув вчера
на театр в коробке лесов.
Фанерную дверь его по вечерам
сторож берет на засов.
Строители утром идут сюда,
чтобы весной
театр засиял,
как никогда,
красками и новизной.
Я шел,
и шел,
и думал о тех,
кому на сцене жить,
какую правду
и в слезы
и в смех
должны они вложить!
Какие волнения им нужны,

какие нужны слова,
чтобы после подвига старшины
искусству
 вернуть
 права!

1946

ДОРОГА В СТАЛИНГРАД

1

Поезд медленно застынет,
у окошка стань
и взглядишь сквозь синий иней
в станцию Котлубань.
Медленно идут казачки,
коромысла обхватив.
Сбитый купол водокачки,
поездных гудков мотив.
Котлубань — какое имя!
Вглядываюсь в рань
и за окнами двойными
вижу Котлубань.
Годы сразу заспешили...
Я глаза протер...

2

Вот выходит из машины
парламентер.
С белым пламенем холстинным,
подхрамывая от ран,
на перрон идет пустынный
безоружный капитан.
Солнцу подниматься рано.
Думает:
 «Сюда бы взвод!»
Первый раз на немцев прямо
без оружия идет
и кричит своим ребятам:

— Мы без оружия грозны!
Им страшнее ультиматум,
Не выносят тишины! —
Вот уже четыре вышло,
на руке гремят часы.
Никого еще не слышно
у немецкой полосы.
Видят с легковой ребята:
смотрятся из-за углов
пристально
и глуповато
черные глаза стволов...
Капитан свистит,
счастливый,
станцию закрыл спиной
и идет неторопливо
раскаленной тишиной.
Медленно идет к машине
и, не поглядев назад,
постучал по жесткой шине —
и шоферу:

— В Сталинград! —
Выстрел вырвался холодный
за углом.

Взяла тоска, —
падает немецкий взводный
с пистолетом у виска.
Снова грохот по окружью,
вздрагивает Сталинград.
Снова, прикипев к оружию,
капитан ведет отряд.
Огнем сверкая валом,
суживается кольцо,
выползая из подвала,

спрятал Паулюс лицо.
Тишина стоит немая,
капитан проходит тут.
Оружье
 пленные
 снимают
и к его ногам кладут.
И идут,
 еще с опаской,
в сорок третьем, в феврале,
по горячей сталинградской
вздрагивающей земле.

3

Котлубань — какое имя!
Вглядываюсь в рань.
Мимо,
 мимо,
 мимо
проплывает Котлубань...
Еду я.
Проходят годы
по моим следам,
где ты в этот час проходишь,
мой знакомый капитан?
Не с твоей ли волей в сердце
говорит сейчас
на трибунах конференций
делегат от нас?
Он не избегает споров,
в мире утверждает мир.
Мужеством парламентаров
он владеет, командир.

Медленно выводит слово
в раскаленной тишине.
Медленно садится снова,
медленно протрет пенсне.
Точно,
 медленно ответит,
фразой осветив одной.
Родину свою
 в расцвете
чувствует он за спиной.

4

Стук на стыках одинаков,
и поля в глазах рябят.
Кладбище немецких танков
кружится вокруг себя.
Платформы громкие несутся.
Тракторы застыли в ряд.
Не хотят переобуться,
гусеницами звенят.
Веселый дым стоит над пашней.
Борозда летит струной,
горит в глазах бойцов вчерашних
азарт весенней посевной.
А паровоз спешит до места,
за перегонном перегон.
Колхозники на переездах
стоят в шинелях без погон.

1947

ТАНК

**Так отдыхает танк
от маршей и атак.**

**Нам снятся сны
 с тревогами,
то марево,
 то зарево.
То мы забудем многое,
то все припомним заново.**

А танк стоит,
и в траках
завязли горсти травы...
И гусеницы в атаках
отполированы до синевы.

Мы встретим друга:
— Старина! —
ударим по плечам. —
Ну, как работаешь, война?
Что снится по ночам? —
Расскажет:
— Гимнастерку снял,
шинельку —
на покой,
а сапоги — подправили
в сапожной мастерской.
Да, побыли в работе!.. —

Пилотку снял,
она

висит.

На отвороте
иголка вплетена.
И разговор в обычае.
Известно все на свете нам.
А вот оно —
отличие!
А вот она —
отметина!..

А танк молчит.
На башне
горит ожог вчерашний.
Вдруг
вздрагнет танк в ночи,
и подает нам знаки,
горючее стучит,
проснувшись в тесном баке.
Уперся в землю трак,
и что-то ствол приметил...

Так мы живем на свете.
Так отдыхает танк.

1946

Вы скажете:

«Мне скучно», —

мне не верится,

лишь я взгляну на мир окрестный.

Два ваших слова мне пугают сердце:

«не нравится»,

«неинтересно».

Вам нечего смотреть,

читать вам нечего,

рассеянно

следите вы за лицами,

живете осторожно,

недоверчиво,

процеживая мир ресницами.

Сама земля,

от края и до края,

зовет к себе,

трубит на повороте.

Вы,

медленная,

землю попирая,

возвышенно —

на каблуках —

идете.

Вас показать друзьям моим, красавица,

для них, как оскорбление,

как вызов,

и то, что вам земля не нравится,

и вся сумятица капризов.

А вы все недовольней,
все капризней.
Вы неба не видали,
оглянитесь!
Вы даже не дотронулись до жизни,
как будто бы
испачкаться боитесь.
Красивая...
А вот когда случится,
что ваше сердце сонное забьется,
вы замахнетесь цепкими ресницами,
он
в западню
не попадетсЯ.
Он за руку вас к свету вытянет,
он скажет вам:
идемте с нами!
Не щурьтесь утомленно и презрительно,
глядите полными глазами.
И если вы полюбите всей силою —
засмейтесь и откройтесь
жизни,
свету.
За то, что носит вас, красивую,
благодарите
землю эту.

1947

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я проснулся от радости,
глаза раскрываю,
ногами отпихиваю одеяло,
встаю, как пружина.

Что же такое?
Может, солнце продвинулось к маю?
Подходит зима?
Радость меня закружила.
Радость волнует меня,
охватывает,
тревожит.

Я воду плещу на лицо
и подпрыгиваю даже.
Какая же радость?
По службе?
По дружбе, быть может?
Или слава пришла
и меня полюбили?
Когда же?

Перебираю дела свои, —
ничего в них такого —
ни вчера,
ни сегодня,
ни завтра —
особенного не вижу.
А сердце от радости ворочается бестолково,
и что-то
необычайно счастливое —
ближе и ближе.

Надо что-то предпринимать,
разорвусь ведь на части!
Надо всем сообщить обо всем,
это радость какая!

Так нельзя,
я не справлюсь один с этим счастьем,
так и буду ходить по земле я,
к нему привыкая.

Обзваниваю друзей:
— Что случилось? Не слышал?
Не знаете ничего?
Не случилось?

Вот странное дело!.. —
А радость меня между тем поднимает все выше,
и я несу ее,
к сердцу прижав неумело,

И вдруг осенило!
И все загорается светом:
да,

война ведь окончена!

Вот как! Скажи-ка на милость!
Как это мог я забыть и не вспомнить об этом!
Мне
Девятое мая в Берлине
сегодня приснилось.

1954

У ПАМЯТНОГО ДОМА

Мне вспомнилась война.

Веселым летом

я в Сталинграде дом ищу.

Вот здесь.

Да, это он — тот дом —

по всем приметам.

Стоит, как будто новый.

В краске весь.

Рабочие в бадье вращают глину.

У малышей постройки из песка.

В окне девчонка нянчит мандолину,

в другом —

студент с ладонью у виска.

Я подошел.

У бельевой веревки

две женщины.

Спрошу-ка: этот дом?..

— А ты сама-то!

— Слышу от воровки!

— Свою веревку займей — суши потом... —

Забылись

и твердят одно и то же.

Сердитые,

а в солнце — все равно

как две сестры молоденькие схожи.

Я повернулся и —

назад скорее,

но...

— Вам что тут, гражданин?

— Да так, мне надо...

Дом нужен, говорю, стоял в те дни,
во время обороны Сталинграда.

Остались стены черные одни.

Ваш дом не тот? —

Молчат.

— Напротив, что ли? —

Молчание.

— Куда идти? Туда?

Тогда он здесь стоял, гудел от боли... —

Опять не отвечают, вот беда.

И головы нагнули.

Их жалея,

я подошел:

— Случилось что-нибудь? —

Прищепки теребя, как ожерелья,

взглянули,

и меня толкнуло в грудь,

и вспомнил я

и понял их, молчащих.

Да, были те, бессмертные, дружны.

Да,

вспоминайте,

думайте почаще:

как в этом доме

люди жить должны!

И сам подумал, отступая к дому,

в душе перебирая жизнь свою:

«Вот здесь — не так.

Тут надо по-другому.

Так надо жить, как жили мы в бою».

ВОСПОМИНАНИЕ О 1941 ГОДЕ

Горело все —

людские трупы, лес и поле,—

все прогоркло.

В дыму тоскливо хлеб горящий пах.

Трещали сосны, скрючивались.

От машины военторга

летели хлопья тлеющих рубаш.

Дивизия на островке, в огне капкана вражьего,

фугаски движутся, как по стеклу, наискосок,

бесконечную

взрывной волной

все выкорчевывая заживо,

крутя, как веник обмочаленный, лесок.

Сдавила боль —

жарой стянуло голенище яловое,

очнулся я, рванулся, как во сне.

Косыми ртами клочья воздуха вылавливая,

еще бегут,

туда — к расколотов сосне.

Бегу, склоняюсь к сердцу,

припадая на ногу остывающую.

Околыш красный промелькнул, крича:

— За мной! —

И я — за ним. Заковылял.

— За мной, товарищи!

— Хальт! — сквозь разрывы ощущаю всей спиной.

Всех насчиталось девять,

и пошли, держа оружие,

в фуражке красной впереди — вожак.

Он знает путь,
он кадровый, где север знает, где восток.

Гремит оружие.

Я голенище распорол и смог шагнуть.

Идем, идем. А немцы здесь перекликаются,
как вороны.

Потом затихло. Рвется гул издалека...

— Стой! Мародер! —

Ведущий выхватил наган,
рванулся в сторону.

А мы — за ним.

И увидали паренька.

Тот стороной идет один,

он замедляет шаг, хоть связывай,
сгорели полы,

ствол винтовки жарко ржав.

Две длинных палки под рукой несет

и сверток бязевый.

— Брось! —

Командир наш выбил палки, подбежав.

Упал, разматываясь, сверток сразу,

пни обшаривая,

и мы заметили на нем, разинув рты,—

на школьной карте

улеглись

два полушария,

раскинув ребра широты и долготы.

В одном —

Союз наш, словно флаг горит у полюса,

в другом —

Индийский с Тихим

впереплеск переплелись.

— Ты что? — хрипит ведущий наш,
в глазах угроза строгая.

— Зачем ты взял?!

— Простите,
там валялось между пней. —

У шапки ухо поднялось,
склонился к карте, палки трогая.

— Сейчас же брось!

— Я буду выходить к своим по ней...

Да, почему я вспомнил,
почему весь день я думаю
о том бойце?

Меня весь день к нему влекло.

Пятнадцать лет дорогой сложною и трудною —
немного меньше, чем полжизни, — утекло.

И нес он карту.

А у нас тогда была еще трехверстка.

Мы путь к Ельцу держали, зная — наши там.

От перестрелок нас совсем осталась горстка,
шли вчетвером,

а он — за мною по пятам.

Толкал мне в спину палками от карты,

наш упрямец,

мне чудились два полушария Земли,

в одном —

вверху —

наш флаг летит, горит багрянец.

Китай и Бирма виделись вдали.

В другом —

Индийский с Тихим,

островов гряда коралловая.

Египет чудился...

Так шел боец за мной.

И в памяти моей так и живет он:

**даль оглядывая,
несет из окруженья шар земной.**

1958

ОБЕЛИСК

Вы думаете — нет меня,
что я не с вами?
Ты, мама, плачешь обо мне.
А вы грустите.
Вы говорите обо мне,
звения словами.
А если и забыли вы...
Тогда простите.
Да. Это было все со мной,
я помню, было.
Тяжелой пулей разрывной
меня подмыло.
Но на поверхности земной
я здесь упрямо.
Я только не хожу домой.
Прости мне, мама.
Нельзя с бессменного поста
мне отлучиться,
поручена мне высота
всей жизни мира.
А если отошел бы я
иль глянул мимо —
представьте,
что бы на земле могло случиться!
Да, если только отойду —
нахлынут, воя,
как в том задымленном году,

гремя с разбега,
пройдут
мимо меня
вот тут,
топча живое,
кровавым пальцем отведут
все стрелки века.
Назад — во времена до вас,
цветы детсада,
за часом час —
до Волжской ГЭС еще задолго,
так — год за годом —
в те года у Сталинграда,
в года,
когда до самых звезд горела Волга.
В год сорок...
В самый первый бой,
в огонь под Минском,
в жар первой раны пулевой,
в год сорок первый...
Нет,
я упал тогда в бою с великой верой,
и ветер времени гудит над обелиском.
Не жертва, не потеря я —
ложь, что ни слово.
Не оскорбляйте вы меня
шумихой тризны.
Да если бы вернулась вспять
угроза жизни —
живой
я бы пошел опять
навстречу снова!
Нас много у тебя, страна,
да, нас немало.

**Мы — это весь простор земной
в разливе света.**

Я с вами.

Надо мной шумит моя победа.

**А то, что не иду домой,
прости мне, мама.**

1963

ПЕРВЫЕ ДНИ

Кто в пилотках,

кто в шапках,

шинель — нараспашку.

Не хотелось ни есть и ни пить.

А теплынь — хоть куда!

По утрам умывались,

голову продев сквозь рубашку,

смеялись стеснительно:

«Жир нарастет, ерунда!..»

Ходили внутри заколдованного круга,

чавкали сапогами по размолотому кирпичу,

с удивлением

и любопытством

разглядывали друг друга:

— Вот и победа!

— Мы живы! —

хлопали по плечу.

Седовласые женщины,

мужчины в штатском

глядят виновато.

Подходят,

неуверенно просят махру.

Фашисты сразу

как будто бы провалились куда-то.

Флаги — простыни и полотенца —

хлопали на ветру.

Дошла! Догремела! —

кухня стоит полевая

на углу у рейхстага.

Но ей не положен отбой.
Разнобойную очередь дымом своим овевая,
как зенитка уставилась в небо
проржавелой трубой.

Протягивали котелки, и кастрюли, и каски
Немецкие люди,
как после болезни,
как будто в бреду.

А дети уже подходили совсем без опаски.
Мы уходили.
Не хотелось смотреть на чужую беду.

Уходили солдаты.
Плечи опускали устало.
Пахло пахотой.

Небом весенним.
Дорогой прямой...
Двадцати миллионов советских людей
в это утро
нам там не хватало!

В это утро
нам нестерпимо хотелось домой.

1974

ПАРК БЕЛЬВЮ

Майор Плехотин,
вы помните старшего лейтенанта,
худого, как щепка?

В новом кителе,
сшил его перед Вислой
лучший варшавский портной.

Я был, как новенький веник,
скрученный крепко...

— Где парк Бельвю?
— Я не знаю..
Я тут впервые,
вместе с войной.

— Где парк Бельвю? Где? —
кричали мы
в каменном хитросплетенье,
но улицы были перемолоты
и перемешаны
гневным огнем.

Встречные немцы
в развалины ускользали, как тени.

Наши бойцы разводили руками:
— Бельвю?
Не слышали о нем!..

«Зачем ему парк?» — я подумал.
А голос,
ваш голос! —

— Где парк Бельвю? —
Я за вами с трудом успевал.

— Где парк Бельвю?..

Силой нездешней и безответной любви
эхо вашего голоса

здесь у войны на краю.

Товарищ Плехотин,

бежал я за вами, не зная...

Потом стоял у вашего локтя,

над холмиком свежим,

в сосновом бору,

у фанерной звезды:

«Красноармеец Плехотин.

1925—1945. 1 мая».

Вместе с вами

так и буду делить эту тяжесть,

пока не умру.

И теперь, товарищ майор,

у каждого обелиска

вспоминаю тот день,

черты ослезненного болью лица.

Впервые увидел тогда я победу так близко:

Бессмертие сына —

Вечное горе отца.

Двенадцать

дорических темных колонн

Бранденбургских ворот,

обитых и почерневших.

Наш флаг над рейхстагом.

Синяя майская синь

над землею,

над флагом

и облака,

через время

бредущие вброд.

1975

СОЛДАТЫ

А были дни и ночи — стали даты,
Нас разделив на мертвых и живых.
Читают постаревшие солдаты
Воспоминанья маршалов своих.
Листают, возвращаются и — дальше,
Сон не идет.

При тишине любой.

Ага — деревня помнится на марше.

А вот еще — а дальше первый бой.

Передовая — это нам известно.

А здесь траншея, правильно, была,

Здесь ночевали сумрачно и тесно,

Здесь ранило — отметина целая.

Читают...

Удивительно солдату,

Как в Ставке, там — в далеком далеке,

Его дороги наносил на карту

Верховный сам, с карандашом в руке.

Как от Генштаба

и до рядового,

До сердца, замеревшего в груди,

Летело —

долетело слово в слово —

Заветное: «В атаку выходи!»

А на груди не так уж и светило,

С подвозом трудно — шли в снегу, в грязи,

Немыслимо, чтобы на всех хватило

Медалей,

Нам снаряды подвози!

Разглядывают карты битв великих,
К Берлину — стрел стальные острия,
Вот где-то тут, в кровавых этих бликах,
Находят точку, вот она, моя!
Трехверстку бы достать — другое дело,
Масштаб не тот, а то бы и нашли —
Свою травинку в прорези прицела,
Свою кровинку на комке земли.
Вперед, вперед!
В жарыни и в метели,
Бегом за танком — не жалей ноги!
Шинели длиннополые свистели,
Кирзовые стучали сапоги.
Затягивали ватники потуже,
Бежали в шапках — звездочкой вперед,
Четыре года спали без подушек,
Из котелков кидали что-то в рот.
Четыре года жизни —
Год за годом,
Четыре года смерти —
 день за днем,
Во имя мира всем земным народам,
Бежали, опоясаны огнем.
Все, что свершили, — памятно и свято.
Навеки будут рядом без конца —
Могила Неизвестного солдата
И Счастье победившего бойца.

ДОРОГА К МИРУ

Поэма

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тетрадь первая

ТЯЖЕЛЫЙ РАССВЕТ

Первый раз я увидел рассвет с неохотой,
помедлить просил, но этого не случилось.
Ночь отпрянула,

и над краем болота
солнце холодное просочилось.
Командир отделения как стоял в плащ-палатке,
так стоит.

И дождь все так же струится.
Нас осталось немного
после огненной схватки.
Нам надо сквозь заслоны фашистов пробиться.
Сколько нас? Пятеро.

А патронов двенадцать.
Сколько нас?

Мы еще не знаем об этом,
еще в живых никто не может считаться,
пока не выстоит перед этим рассветом.
Нет, не дождь...
Теперь изменилась погода.
То, что было дождем, становится снегом.
Первый снег.

Первый снег сорок первого года!
Первый выстрел — за вспышкой следом.
— Вон идут! — говорит командир.
Стало страшно.

— Самое главное — встать нам.

Гранаты проверьте,
приготовьтесь, мы пойдем в рукопашный.
Плен страшнее и мучительней смерти!

— Ну, Сережа! —

Я гляжу в его глаза голубые,
русый чуб его смят порыжелой пилоткой. —
Мы пробьемся?

— Пробьемся!

Нас ведь Родина ждет! Мы нужны ей! —
Снег на землю идет торопливой походкой.
Лес вдаль — в снеговом пересвете.
Метров за сто, через болото, деревня.
Солому на крышах разбрасывает ветер.
Немцы там. И в лесу.
Вон бегут меж деревьев.
По земле резануло. Мины чавкнули разом,
пулемет застучал, и траву зашатало...
— Ну, вперед!.. —

Я охватываю глазом
лес, и поле, и небо, и все, что попало.
Сотня метров!

Я плыву сквозь болото,
нет, тону,
нет, плыву еще, в тину влипая.
Сердце держит меня и зовет:

жить охота!..

Пули булькают около,
как в картине «Чапаев»,
Вот осока, поскорее вцепиться,
и — последний рывок. И опять все сначала:
мина — взвизгнула.
В землю лица.
Мокрой землей по спине застучало.

Рядом: — Ой!

Ранен в сердце!

Прощайте!.. —

Но встает и пошел. Я тогда разозлился:
— Что ж ты врешь?

— Я ошибся, ребята!.. —

Только сказал он и, шагнув, повалился.
Вот деревня. Вперед! Немец — вот он!
Р-раз — в упор! — и в коноплю, перебежкой,
огородами, по дворам, за ометы.
Жизнь подпрыгивает — то орлом, а то решкой.
— Эй, Сережа, скорей — в лес, к дороге! —
Мы бежим. Я оглянулся и вижу:
немцы.

Зубы их, руки и ноги
в сотне метров.

Все ближе, все ближе...

— Есть граната, Сережа?

— Нет, вышли!

Ни патрона в винтовке. Вот роща.

— Хальт! — у самого уха я слышу. —

— Ха...

И сразу — огоньками на ощупь —
пулемет полыхнул у меня под ногами.

Та-та-та!

— Что стоишь-то? Свои же!

— В лес беги... —

Та-та-та!

Немцы падают сами, —
что случилось?..

У пулемета, я вижу,
парень лежит.

— Вот спасибо!

Ты кто же?

Ты нас выручил... —

Он молчит, обессилен.

— Будешь с нами? —

Он повис на Сереже.

— Как зовут?

— Тараканов... Василий...

Лес темнеет. Мы идем друг за другом.

Мы молчим — лес молчит, осторожен,
только веткой в лицо ударит упругой.

— Мы пробились! — говорит мне Сережа.

Час идем, два идем.

Живы, значит.

Три часа.

— Вася, не отставай.

Ночь какая!

Лес нас выведет,

он укроет,

он спрячет... —

Так иду я, двух друзей окликая.

Рассвет расставил по порядку деревья,
ветки выделил и листвою украсил.

Вася падает,

— Эх, Сережа, скорее!

Подымайся... Ну, что с тобой? Вася?

— Вы идите, — говорит он с тревогой. —

Я ранен. Всю ночь там лежал с пулеметом.

Вот — в боку.

— Что ж молчал ты дорогой?

Мы тебя понесем.

— Нет, оставьте, чего там...

Вы счастливые, вы придете, быть может...

Харьков. Рыбная. Двадцать четыре... Тамара...

Мы несем его.

Я иду за Сережей.

Вася бредит, разметавшись от жара.

Тетрадь вторая

ВАСЯ

— Ты видишь, Алеша, село на опушке?

Идем туда! Умирает наш Вася.

Молока ему, может, достанем полкружки...

Вася, ты потерпи, не сдавайся...

— Никого! — говорю я, выглядывая из-за омета. —

Ну, вперед! —

Дом стоит. Входим в сенцы.

Стучимся.

— Ну, еще к нам кого там?..

Что вы, что вы, тут же вот они — немцы!

Вон, идут! —

Да, идут, это вижу.

Трое по улице прогоняют корову.

— Шнель! — кричат и подвигаются ближе.

— Уходите подобру-поздорову...

— Не успеем уйти. Два дня как не ели!

— Ну, в сарай!.. —

Улеглись мы на сено.

— Теснее, ребята! —

А лучи золотыми ножами пронизывают щели.

Бабий плач зазвенел за стеною дощатой.

— Хальт! — кричат. Повалили скотину.

Корова ревет и ревет у сарая.

К нашей стене пододвигаются спины.

Щели потухли, по краям догорая.

Ступая по сену, добираюсь до стенки.

Что за немцы? Разглядеть бы получше.
Кто такие? — разгляжу хорошенько,
пока другой не представится случай.
Ага, вот старются над коровой,
закатав рукава.

Я сигналю Сереже:
— Иди-ка сюда. Вон один там, здоровый! —
Ржет сутулый, и сиянье на роже.
Хозяйка стоит молчаливо и прямо.
Мать ее падает на колени — и сразу:
— Пан! — вскричала.

Вася в сено отпрянул,
у меня не попадает зуб на зуб.
Старуху ногой отшвырнул и рывкнул сутулый.
— Как? «Навозные люди», —
перевел я, бледнея.
— Браво, Эгонт! — немцы ответили гулом.
Я поднялся, чтобы было виднее.
— Видишь? — шепчет Сережа.

— Молчите!
Тише, Сережа! Хорошенько взглядишь ты.
Эгонт! — запомним, ты наш страшный учитель!..—
Да, так вот они, вот какие фашисты!..

Немцы уехали, и хозяйка
принесла молока, нам поставила молча,
хлеба дала.

— Слышишь, Вася, вставай-ка,
поднимайся, будем двигаться ночью. —
Он лежит вниз лицом, как в раздумье тяжелом.
Я повернул его:

— Не сдавайся, Василий!..—
Не слышит, будто куда-то ушел он.
Капельки пота лицо оросили.

— Я уйду! — прошептал он. — Ты не должен держать меня.

— А куда ты собрался?

Он вздрогнул.

— Вы тут? Уходите с Сережей.

Вы еще можете до наших добраться.

— Без тебя не пойдем, — говорю я, — понятно?

Простонал он:

— А со мной не дойдете...

Вы идите, — прошептал он невнятно

и горит весь. —

...Передайте пехоте!..

Мы ходили по улицам,

одни — туда,

другие — оттуда.

Передавали один другому телефон-автомат.

Приходили за утренним хлебом, сдавали посуду,

в институте учились строить жилые дома...

Жизнь полыхнула прозреньем

тревожным и резким.

В понедельник у военкомата становимся в пары.

Год рождения? Двадцать один.

Национальность? Советский!

До свиданья.

Не беспокойся, Тамара.

«Товарищ командир, вы сказали «Тараканов»?

Это я». —

Я подхожу.

«Я здесь».

«В строю отвечайте «я»,

не болтайте руками».

«Хорошо».

«Не «хорошо», а «есть!..»

Собирайтесь! Тут вот мины поставить...

Что? Ну да... Двадцать первая осень...
Тамара... Не написал ни письма ведь...
Эгонт... Эгонт..

— Вася, ты успокойся! —

— Вася, Вася! —

Но Вася не слышит.

Сережа уложил его и накрыл плащ-палаткой.

Рядом Вася, скрученный лихорадкой.

Лошадь хрупают сеном, как жестью,
где-то телега загромычала по кочкам.

Родина, мы с тобою, мы вместе.

Сердце сжалось неподвижным комочком.

Рассвет протянул свои щупальца выше.

Я раскрываю глаза. Тишина, как на даче.

— Вася, Вася! —

Но Вася не дышит.

Не встает он. Не поднимается.

Значит...

Мир разноцветный проплывает сквозь слезы.

Мы проходим обезлюдевшим полем.

Сиротливо нам кивают березы.

«Вася! Вася!» — отзывается с болью.

Тетрадь третья

УЧИТЕЛЬ ОСТУЖЕВ

— Так учил я полвека. Возьмитесь, сочтите,
скольких я научил. Теперь они держат экзамен.

В огне ты, Отчизна! — вздыхает учитель.

От окна на полу

полоска рассвета меж нами.

Мы сидим в учительской школы начальной,
на каждом окне по географической карте.

— Маскировка? — говорю я печально.

— Да, — отвечает он, — маскировка, представьте.

Сначала была — от бомбежки завеса,
теперь — от фашиста: он карты не тронет.

— Помогает?

— Да, к школе у них пока что нет интереса,
сейчас их больше привлекает коровник.

Правда, раз навестили.

Разговорились о книге
«Сравнительное изучение черепов и влиянье
их различий на ум».

Герр профессор Бельфингер
написал ее, как свое оправдание.

По строению черепа преподносится вывод, —
продолжает учитель, — по мнению арийца,
все мы — я вот, все соседи

и вы вот —
обязательно ему должны покориться.

— Вот как? — говорю я. — Спасибо,
я не знал, что до этой «науки»

додумались люди.
— Вот поэтому: либо мы уничтожим их, либо...

— Нет, товарищ, другого «либо» не будет!

— Вот, смотрите, собрал я.

Это их заготовка, —
шкаф учитель открыл, —

пригодится в учебе!
Смотрите: вот плетъ,

вот это клеймо,
вот веревка.

Шкаф фашизма,
отделение наглядных пособий.

Я смотрю на учителя — вот он стоит перед нами
и в глаза нам заглядывает строже.

— Вижу, — говорю я, — вижу и понимаю!

— Да, понятно, — шепчет Сережа.

— Да, понятно, — говорю я. —

Простите.

Мы пойдем.

До своих доберемся лесами.

Мы вернемся сюда. Мы вернемся, учитель!

Мы вернемся, свобода!

Мы выдержим этот экзамен!

Тетрадь четвертая

ЭХО

Конец октября, а солнце — как в марте.

Что с Москвой?

Рассказывают, что немцы
кружком ее обводят на карте.

«Что же будет?» — спрашивает сердце.

— Нет! — повторяет Сережа упрямо.

— А что, если правда? —

— Алеша, уйди ты!

— А что же будет тогда, Сереженька, с нами?

— Не знаю, — говорит он сердито.

— Ты мог бы представить: вот Эгонт ударил
тебя. А ты б поклонился, Сережа.

А попробуй произнести это:

«Барин».

— Барин, — пробует он и краснеет:

— Не можешь!

А можешь представить:

Эгонт важно и гордо

идет по Москве,

ты — слуга его — сзади.

«Шнель!» — кричит он на тебя во все горло,
и ты — вприпрыжку,

чтоб не сердился хозяин.

Глядят на тебя сотни окон,
Тверской бульвар застывает от удивленья,
и Пушкин на площади поворачивается боком,
чтоб не видеть, как ты живешь на коленях...

Не можешь ты быть

ни рабом,

ни рабовладельцем.

Наш свободный удел нам оставлен отцами.

Можешь удержаться,

чтоб не крикнуть всем сердцем:

«Советский Союз!

Наша Родина с нами!..»

— Нет, не буду молчать я,

ты слышишь? —

крикнул Сережа так, что лес зашатало. —

Не буду!.. —

Я схватил его за руку. — Тише!

Рядом дорога, тут же немцев немало...

— Я русский!

«Русский!» — повторили березы.

— Советский Союз!

Ну-ка, немцы, послушай! —

крикнул Сережа

и стал облизывать слезы. —

Смерть фашизму!..

Листья наземь обрушив,

эхо от дерева к дереву мчится

и слова Сережины по простору разносит,

чтобы слышали небо, и поле, и птицы,

и деревья, наряженные в осень.
Потом тишина неожиданно наступила.
Пулеметное эхо заметалось по веткам.
— Мы продвигаемся к Родине, милый!..—
Дождик прикрыл нас сиреневой сеткой.

Тетрадь пятая
СЕЛЕЗНИХА

— Эй, мамаша!
— Ух, как испугали, сыночки!
— Мы свои, не пугайся, сами пугливы.
Посиди-ка, мамаша, вот тут, на пенечке.
— Чьи же вы и откуда?

Далёко зашли вы!

К Брянску идете?

Брянск-то, он — вот он.

Брянск давно еще назывался Дебрянском,
дебри тут, бывало, росли по болотам...—
Мы молчим.

Лес сияет осенним убранством. —
Говорят — по дорогам каратели рыщут,
в Брянске люди висят на столбах и балконах...
Говорят — заградители есть,

выслеживают и ищут.
и в тюрьму того, кто пройдет без поклона...

— Мы лесами пройдем!
— Понаставили мины!
— Ночью, городом.

— Э-э-э... Стреляют в прохожих...
— Не сидеть же нам тут,
там мы необходимы!..

Очень вы на мою мамашу похожи.

Мы стоим на освещенной поляне.
Пни вокруг сидят в необдуманных позах.
Лес шумящий оторочен полями,
по вискам убелен сединою березок.
Утро.

Птицы мечутся между сосен.
Тишь, как будто войны не бывало.
В мире, кажется, только и царствует осень,
к зиме выстилая лоскутное одеяло.

— Я-то в город. Хлеб вот в кошелке.
Дочка там голодает. Все забрали до точки.

— Кто, мамаша, забрал? —

И ответила колко:

— Уж не знаю и кто,

вам виднее, сыночки...

Вы куда же? Домой направляетесь, что ли?

Ну, а ружья зачем?

— Ох, хитра ты, мамаша!

— Ну вас, право! Я ведь так, не неволю...

— Понимаешь, — говорю я, — там армия наша!

— Что же, не бросили разве войну-то?

— Как же бросить? Это только начало!

— Значит, врет этот немец, закончили будто...

А Москва как?

— Стоит, как стояла!

— Или радио есть — все вы знаете больно?

— Ну а как же без радио? Вот оно, слева!..

— Значит, вон оно как! —

сказала довольно. —

Теперь уж пойду я! — и шагнула несмело.

Опять постояла. — Ну, бог вам в помощь!

Пойду.

Вы, ребята, — со мною.

Уж я проведу вас. Я знаю дорогу.
Ходила к «железке» тут каждой зимою.

И пошли мы по тропе за мамашей,
за ситцевым, в складочках, в клеточках, платьем,
дорогой посветлевшею нашей,
в бой торопясь, поскорее к братьям.
Петляет тропа в самой чаще,
меж стволов необъятных сосновых.

— Не устала?

— С чего?

— Вы ходок настоящий!

— Как же, это известно о нас, Селезневых! —

Так ведет нас за собой проводница.

Лес шумит в осеннем уборе...

— Стойте тут! Не спугнуть бы нам фрица.

Я приду...— И мамаша — в дозоре.

Насыпь уже начинает виднеться.

Вот и мать помахала нам веткой.

— Ну, пошли!

Вон, сыночки, и немцы
на «железке». Хорошо, что с разведкой!

— Ой, хитра ты, мамаша!

— А как же!

Часовые фашистские ходят по шпалам.

— Ничего, мы небось не промажем.

— Как, мамаша?

— Я уже загадала.

Вот, сыночки: я полезу к «железке» —
бандиты ко мне. Будут зенки тарашить.

Вы того, через рельсы моментом,
побойчее, да в сосновые чащи!

— Ну, а вы?

— Мне-то что, не солдат я.
Чай, глаза-то имеют. Идите, идите!
Добирайтесь и приходите, ребята.
В Брянск вернетесь — Селезниху найдите...

И ушла вдоль насыпи, раздвигая
ветки маленькою рукою,
в клетчатом платье, сгорбленная и седая.
Навсегда я ее и запомнил такую.
Вот она завиднелась видением грозным,
подобрав свои юбки, через рельсы шагнула.
Немцы — к ней.

Мы за насыпь — и к соснам,
задыхаясь от сердечного гула.
Уходить не хотели, не увидев мамашу.
Из кустов, притаясь, на дорогу взглянули.
Трое немцев над матерью автоматами машут.
— Хальт! — кричат, за рукав потянули.
— Не замай! — оглянулась мамаша,

одернула платье,
руку гада кошелкой отбросила смело. —
Что ты с бабой воюешь? Не солдат я!
Тьфу на вашу войну, не мое это дело! —
И пошла себе дальше по шпалам,
и пошла тихонько, покачивая кошелкой...
Встал фашист.

Автомат свой прижал он,
чтобы в нашу Ефимовну
целиться с толком.

А мамаша идет себе, рассуждая.
Фашист опустил автомат,
не понимая чего-то...

Наталья Ефимовна, маленькая, седая,
в клетчатом платье, скрылась за поворотом.

Тетрадь шестая
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Рассвело.

Мы сходим с дороги в пшеницу.

Днем нельзя идти по орловскому полю.

Машины немецкие тянутся вереницей.

Мы считаем, стиснув зубы до боли.

Солнце выкатывается, как обод из горна.

Мы растираем в жестких ладонях колосья,

в рот бросаем потемневшие зерна,

руки раскинули, как косари на покосе.

Земля, где твоих косарей задержало?

Поле, где же твоя косовица?

Плуг лежит, перевернутый, ржавый,

землей пропахла неубранная пшеница.

Волнение неясное сердце мне гложет.

— Двадцать девятое октября? Что за дата?

День рожденья мой! Понимаешь, Сережа?

— Ну? — Он сел. — А молчал, голова ты!

— Сам забыл... Интересно уж очень:

— Что ж сидим? В магазин нам давно бы!.. —

Мы хохочем до слез.

Да, пожалуй, хохочем...

— Тише! Идут! —

насторожились мы оба.

Тихо сразу стало, и слышно —

шагает размеренно человек по тропинке.

Появился —

в шапке барашковой пышной,

одна нога в сапоге, а другая — в ботинке.

— Вот закурим, — шепчет Сережа. —

Товарищ! —

Человек встрепенулся и присел от испуга.

— Ну, чего ты? Свои же! Никак не узнаешь?
Скоро ты забываешь старого друга!

— Что-то я не припомню,—

прохожий все мнется.

— Все равно. Вот закурим — и будем знакомы.
Так, давно бы присел. Самосадик найдется?

— Вы куда же?

— К Ельцу пробиваемся, к дому!

— На Елец! — удивляется парень. —

Да что вы!

Елец не взят еще...

— Как! А нам говорили... —

Я задохнулся: все рушится снова!..

— Так-то, — парень сказал, —

там еще красные в силе.

— Кто? — поднялся Сергей.—

Что-то путаешь, парень. —

Я толкнул его в бок: — Помолчи ты, садись ты!..

Вот спасибо, — говорю я в ударе,—

мы бы влопались. Красные?

Словом, там коммунисты?

— Там полно их, орудий понавозили!

— Да, орудий? — я мигаю Сереже.

— Там и танки.

— И танки?

— С платформ разгрузили.

— Ну?

— Вот крест!

К наступлению, похоже...

— А у тебя ведь махорка в газете?

— Да, — говорит он, смеясь отчего-то,—
старшина еще выдавал перед этим...

— Перед чем?

— Перед тем, как убежать мне из роты...—

Парень бросил окурок дрожащей рукою.

— Ну, пора.

— А куда ты?

— Пойду до порога!

Дом отцовский верну, кой-кого успокою,
все напомним!..

— Посидел бы немного!

— Нет, пойду. Вы бы сняли шинели
и винтовки...

— А что?

— Немец может заметить.

— Ну и что?

— По ошибке прицелит.

Вот учи вас. Сами будто бы дети...—

Я взглянул на Сергея. Он тоже
на меня. И показал мне глазами.

«Понимаю,— кивнул я,— понимаю, Сережа...»

— Ну, пойду.

— Посиди еще с нами!

Посиди еще,— говорю я.

И сразу

бью его так, что шапка слетела.

— Посиди! —

Сергей подминает заразу,
и мы валим его безвольное тело.

— Что вы! Братцы! — хрипит. —

Не решайте! —

и слезы бегут по его щекам ненавистным.

— Мы не братья тебе!

— Ты предатель! Предатель!

— Братцы, жить! —

прошипел он со свистом.

— Жить? — крикнул Сережа. —

Это слово не трогай,

к жизни приходят не этой дорогой! —
Пшеница, шумя, поднимается снова.
— Значит, здесь, значит, вот они, наши!
Ты слышишь, предатель? —

Но предатель — ни слова...

Мир осенний закатом окрашен.
Сумерки падают хлопьями на дорогу.
Мы идем к тебе, Родина,
ждем великих велений,
чтобы к жизни с тобою нам
следовать в ногу.
Дорога к жизни — лучшее из направлений.

Тетрадь седьмая

ВСТРЕЧА

Мы проходим полем орловским.
Ночью Орел обходили мы справа.
Над неубранным полем рассвета полосы.
Кружатся птицы чернокрылой оравой.
Дороги, замешанные на черноземе!
Еще дымится догорающий элеватор.
Черный хлеб,
дымный хлеб по дороге жуем мы,
по своей земле проходя робковато.
— Сегодня седьмое! Ноябрь.
В это утро
мы с тобой революцию славили
в наших колоннах.
И Ленин глядел спокойно и мудро
на Отчизну
с наших знамен окрыленных.
А помнишь,— говорю я, хмелея,—

с тобой мы в колонне огромной шагали
по Красной площади у Мавзолея
и Родине

сердцем всем присягали.

Народ на нас рассчитывал, может,
а мы с тобой идем где-то сбоку. —
Голову ниже опускает Сережа:
— Тяжело идти в направленье к востоку.

Мы проходим полем орловским.
Утро новое лужицами зазвенело,
и ноги постукивают глухо, как доски,
по дороге оледенелой.
Ветер гонит бумагу, гремит, словно жестью.
— Лови, на сигарки используем это...
— Это что, интересно?

«Орловские вести».

На русском! За шестое! Газета!
— Ну, что там? Что? —

задыхается сердце.

И как молния, упавшая рядом,
черным шрифтом, как порохом:

— «Немцы

на Красной площади, седьмого, парадом...»
Сережа навалился всей грудью.

— Брешут! —

шепчет он потресканными губами.

— Пойдем, Сережа.

— Подожди-ка, обсудим... —

И мы садимся на заснеженный камень.

Мы сидим и сидим — и ни слова.

«Пойдем?! А куда?» — возникает упорно.

Но мы ногами постукиваем снова,
чтоб тишина застоявшаяся не хватала за горло.

Ночь бесшумно захлопнула дверцы,
звезда Полярная появляется сбоку.
Она лишь подсказывает тревожному сердцу,—
если спросишь: «Куда?»

Отвечает: «К востоку».

Девятое ноября нас в поле застало.
Мы засели в суслоне.

Рана сочится.

Солнце осеннее согревает нас мало.
Печально прелая пахнет пшеница.
Горькая подкрадывается дремота.
Хорошо бы сейчас пробираться лесами!..
Вьется, не прерываясь, над нами
звонкий голос одинокого самолета.
Иней исчезает заметно,
мокрые травы поднимаются к солнцу
узнать:

может, снова возвращается лето? —
и греются,

всплескивая ладонца.

— Если даже и так — будем двигаться вместе, —
шепчет Сережа. — Мы пробьемся к оружию! —
Он комкает «Орловские вести»...

Самолет все позванивает по окружью.

И тут же застучала зенитка.

— Что такое? Самолет среди разрывов.

— Наш! Это наш! Послушай, звенит как!

Немцы бьют, хорошо бы накрыл их! —

Мы снопы раздвигаем.

— Дым пустил? Неужели...

— Нет, летит, просто в тучи закутан.

Уходит, уходит, видать еле-еле... —

А туча стала раскачиваться парашютом.

— Так он к немцам может спуститься! —
Но парашют опять разрастается в тучу.
Я вижу, как разлетаются птицы.
— Это птицы,— говорю я.— Вот случай!..

В небе пусто стало. Вот жалость!
Зенитки помалкивают. Ни звука, ни крика.
А птицы раскачиваются над нами, снижаясь.
— Стой, Сережа!

Это листовки,
смотри-ка!

Падают. Погляди, вон упала! —
Мы выпрыгиваем из копны — и к дороге.
А сердце мое подпрыгивает как попало,
Я задыхаюсь от непонятной тревоги.
Мы бежим за листьями, крутящимися наклонно,
я листовку ловлю, как белую птицу.
И сразу в глаза мне — боевые колонны...

— Наши?
— Наши! —

Мы садимся в пшеницу.
Я медленно читаю, по слову,
эту весть, которая жизни дороже.
— Москва!

Сталин на Мавзолее. Седьмого.
— «Речь на параде»,— повторяет Сережа.
— «Товарищи красноармейцы...»

— Постой-ка.

Родина к нам обращается! — дрогнул голос Сережин.
— «...Враг жестоко просчитался».

— Жестоко!..
— «...Мы можем и должны победить...»

Слышишь, можем!

— Значит, Алеша, наша армия близко!
Вставай, Алеша! Торопиться нам надо!
— Это верно,— вот прочти,

здесь приписка:

«Елец. Издательство «Орловская правда»:
«Орловская правда»!

Значит, правда, Серега! —
кричу я и рву «Орловские вести».

Нас ждут! Прямее води нас, дорога!
Дорога к правде — лучшее из путешествий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Тетрадь восьмая

ПЕРЕЛОМ

Год прошел.

К Сталинграду иду я, встревожен:

— Мать и сестренка на Тракторном были.

Что теперь?

— Не волнуйся, — утешает Сережа.

— Знать бы: переправились или... —

День и ночь

к Сталинграду мы идем по Заволжью.

К нам доносится грохот сквозь облако пыли.

Ночью тучи закрыло,

пламя по горизонту.

— Сталинград! —

Мы глядим, примостившись на крыше.

В эту ночь мы пришли к Сталинградскому фронту.

Первый взвод батальона прямо к берегу вышел.

Час на отдых нам.

— Спать! — приказанье комбата.

В дом стучимся. Темно в переполненном доме:

— Сталинградские дети тут, тише, ребята.

— Дети?

— Вот они, на полу, на соломе... —

Душным заревом взрывов полнеба объято,
гул разрывов доносится слева и справа.

— Поднимайся!..

— Нам нету дороги обратно! —

Сталинград! Сталинград!.. Город мой!..

Переправа...

...Лет восьми я узнал,

что родился в России.

Пастухом,

проводя коров на рассвете,
мимо мира, где травы парные косили.
Мне об этом шепнул набегавший ветер,
и звезды тогда рассыпались тут же,
под крышами нахохлились птицы,
и я боялся бегать по лужам,
чтоб в небо

нечаянно

не провалиться.

А мне говорили, что неба немало!

Что мир на России не сходится клином.

И за граница передо мною витала

французскою булкой,

немецкой машиной...

Я не спал иногда, распаленный, в обиде,
тихонько сжимал я усталые веки,
чтобы только хоть ненадолго увидеть
чужеземные страны, чужеводные реки...

Но вражья каска в огороде ржавела,
и сшили узду из трофейного ранца,
и мне не нравилось рыжее тело,
гнилые зубы пленного иностранца.

Ночи неясными снами грозили.

Думал я:

но родись на земле иностранной
я б тогда ни за что не увидел России,
был бы я у чужих,

не увиделся б с мамой.

Я бы не бегал за телегой, вдогонку,
не побывал бы на зарево́м сенокосе,
никогда не увидел бы нашу доенку
и свинцовые волны на Волге под осень.

Я забыл в ту минуту охотно,
что сестры мои — задиры и злючки,
что доенка не слушается,

бегает к копнам,

а поле, если бежать, подставляет колючки.

Я прощал это все!

Забирался на крышу
смотреть, как закат опускается, розов;
там мне ветер, тот, что пшеницу колышет,
погладит голову, тихо высушит слезы.

Ветер тянет дымок,

мне лицо утирает;

это ветер степной.

Он ответит, только спроси я:

«А где я родился?»

И ветер от края до края,
от колоса к колосу, шепчет:

«Россия... Россия...»

В семнадцать, слепое волнение осилив,
шептал я косичке, закрученной туго:

«Хорошо, что мы оба родились в России!
Ведь мы же

могли

не увидеть друг друга!..»

И я полюбил Россию, как маму.

Полюбил,

как любимую любят однажды,
полюбил, как парус, набитый ветрами,
как любят воду, умирая от жажды...

...Я глаза открываю, вижу черное небо:
Голову кружит огненная дремота.

Я проваливаюсь в тяжелую небыль.

Шум в ушах...

— Не вставай! — мне командует кто-то.

И тут же разрыв бьет песчаной волною.

Хлещет вода, топит в тягостном громе...

Снова тихо. Кто-то рядом со мною:

— Что случилось?

— Бомбой нас, на пароме...

Я — Руденко Семен, из вашего взвода.

Ты ранен. Тонул. Прямо там, у парома.

Я доску поймал, помогал вот Нехода.

На доске мы приплыли. Вот мы и дома. —

Мы лежим на песке.

Волны падают в ноги.

— Подожди-ка, сейчас приведут санитаров.

— Где Сережа? — закричал я в тревоге.

В рот мне хлынула гарь бомбового удара.

Я трогаю лоб: — Да, заметная ранка!..

— «Фронт второй» открываю, —

сообщает Нехода.

У него на коленях консервная банка.

— Ишь, рисунок! Смотрите — подходящая морда!

— Это автопортрет, — произносит Сережа.

— Что ж, воюет союзник, торгует тихонько, где свининой, где свинством...

— Да, личность похожа.

Тут и надпись, смотри-ка: «Свиная душонка...»

Сережа нашел нас тогда, в том ненастье.

Через неделю я отлежался в санчасти.

Я за домом слежу, за обломками лежа.

Двадцать девятое октября.

— Что за дата?

Не знаешь ты случайно, Сережа?

— День рождения твой! Вот забыл, голова-то! —

Двадцать четыре — молодость человека!

Двадцать четыре.

Мы становимся старше.

Середина двадцатого века.

Продолжается биография наша.

День рождения первый —

полюхают зарницы.

Двадцать четвертый —

опять канонада.

Первый день —

побеждает Царицын.

Двадцать четвертый —

битва у Сталинграда.

Вот судьба! — ребята вздохнули:

двадцать четыре огненных года!

Двадцать четыре! — ударяются пули.

Двадцать четыре...

— Посмотри-ка, Нехода!

— Идут, — говорит он, — поднимайтесь, ребята! —

— Двадцать четыре! —

— Там вон клен у обрыва водою подмыло, я когда-то ходил тут в любви признаваться.— Сережа спросил:

— А давно это было?

— Двадцать четыре минус восемь —

шестнадцать!

— Как же ты день рожденья забыл, голова ты!

Что ж, пожелаю многие лета... —

Двадцать четыре! — обрывают гранаты.

Двадцать четыре! —

выплескивает ракета.

— Опять нам срывают твои именины!

— Вон идут.

— Выходи! —

И от взрыва до взрыва

мы — вперед и вперед...

«А может, и миной, —

думаю я, —

клен столкнуло с обрыва?!»

Взвод наш испытанный рассыпан не густо.

— Ну, вперед! Ну, еще! Поднимайся, Алеша, — шепчет Сережа мне.

Я разделся,

но груз-то —

станок пулеметный —

не легкая ноша.

Слева Нехода бежит с автоматом.

— Ура-а-а! —

и зигзагами приближаемся к дому.

Взводный крикнул:

— Вперед! —

И рванулись ребята.

И бежим мы по кирпичному лому.

Дом гудит:

Мы — по лестницам, пробивая дорогу.

Наш пулемет в оконном проеме
к фашистам не пускает подмогу.

Вот опять.

— Начинай! — я командую Семе...

Площадь Девятого января на ладони.

Немцы перебегают, пропадают — и снова
встали.

Сема открывает огонь — и
площадь пенится от огня навесного.

— Вот так так! День рожденья! —
сверху спрыгнул Нехода. —

Из-за этого стоило, пожалуй, родиться!

Ключевую позицию заняли с ходу,
слышали? Благодарит нас Родимцев...

— Танки! — крикнул Нехода — и вниз куда-то.
Да, два танка выходят на нас от вокзала.
Сердце дрогнуло.

— Не отступим, ребята! —

Голос Сережи громом пушек связало.

Кирпичные брызги прянули в спину,
пыль окутала всё.

Сквозь просветы
танки вижу. Вижу немцев лавину.

— Бей, Руденко, пора! —

Он молчит. —

Сема, где ты?.. —

Он свалился к стене. Я ложусь к пулемету,
вижу — миной гусеницу распластало.

Мой огонь уложил на булыжник пехоту.
Над танком крутящимся пламя затрепетало.
А от дома на площадь «ура» полетело.
Танк второй повернул — и назад.

— Сема, Сема! —

Я к стене привалил онемевшее тело.

— Стой, я сам. Отошли?

— Нет, на месте мы, дома...

Ночь неожиданно на землю упала.

Собрались мы: Сему перевязали.

— Ну что же,

сколько нас?

— Десять с Семою.

— Мало.

Взводный умер. Нас мало. Командуй, Сережа.

— Что же делать? Нас мало. Начнется с рассвета.

— Что ты?! — вспыхнул Сергей. —

Нас почти что полвзвода... —

Я чувствую сердцем тепло партбилета.

— Здесь есть коммунисты! — поднялся Нехода.

День за днем.

День за днем

мы живем в этом доме.

Мы живем!

И фашисты не вырвутся к Волге!

День за днем

мы живем в этом яростном громе,
и не могут нас выбить фашистские волки!

Ночью седьмого — ноябрьская стужа.

Я вышел на смену продрогшему Семе.

Ветер холодный насвистывает в проеме...

говорил я, краснея,

И луна поднимается над водою,
чтоб увидеть,

Клен повис над потемневшим обрывом.

**А ветер, набегая порывом,
трогает шелестящее платье.**

А ветер все набегает с размаха.—

Мы могли не увидаться, скажи-ка на милость! —
говорю я

и замираю от страха.

Спасибо тебе, дорогая Отчизна!

Волнение меня затопило наплывом.

Тебе я обязан всем в жизни.

Слышишь, Родина, я родился счастливым...

Выстрелы вспыхнули.

Вижу, что-то маячит...

— Стой!

— Свои мы!

— Проходите по следу...

Сколько вас? Отделение? Пополнение, значит!

— Мы приказ принесли,

есть приказ на победу!..—

Мы укрылись плащ-палаткой крылатой,
зажигалку я чиркнул движением верным.

— Седьмое. Приказ вот. Трехсот сорок пятый...—

Мы друг к другу прижались,
как тогда, в сорок первом.
«Настойчиво и упорно готовить
удар сокрушительный!..» —

Мы откинулись снова.
— Кто подчеркивал тут?
— Сам Родимцев, должно быть.
Он газету вручил!

— Значит, что-то готово!
Понимаете, раз уж сказано — будет!
Слово нашей армии свято!
Сталинград — мир для мира добудет!
Разбудите парторга Неходу, ребята...

В ноябре ветер вьется, неистов,
в декабре пальцы греет ствол автомата.
В январе...
— Мы тебя отстоим от фашистов,
Сталинград наш!..
— Наступленье, ребята! —
Вода снеговая в неостывших воронках.
Фашистские трупы падают на мостовые,
а лед на Волге потрескивает звонко,
чтобы волжскую воду не увидели живые.
— Ого! Январь! Веселая выюга! —
Мы вглядываемся в похудевшие лица
и смеемся, узнавая друг друга:
как будто бы выписались из больницы...
— Вот здесь,

ты помнишь, мои именины.
Нет, ты только подумай над этим...
А клен-то, конечно, подрезали мины,
чтоб разлучить нас
с шестнадцатилетьем...

К станции Котлубань выезжает машина.
— Четыре ноль-ноль.

Что-то нет их, ребята.

— Значит, ждет их другая кончина,
раз не явились принимать ультиматум...

Артиллерия грянула сразу,—
не попадает камень на камень,
не попадает зуб на зуб,
и в рукава не попадают руками.
И пошли мы обжигающим валом,
волной израненной, но живою,
пока не выполз из штабного подвала
фон Паулюс —

и руки над головою,
пока, прихрамывая, нарушители мира
не потекли по городу вереницей,
без строя, не соблюдая ранжира,
опуская почерневшие лица.

Мы с Сережей у Тракторного завода,
где Мечетка пробирается в иле,
для того чтобы перед новым походом
маленькой поклониться могиле.

Когда-то я шептал, обессилив,
что, родись я в стране иностранной,
я б тогда ни за что

не увидел России,
был бы я у чужих,
не увиделся с мамой.

— Мама моя!

Я с тобой не увижусь.
Я не предвидел опасением детским,
что иная земля пододвинется ближе,

чтоб разлучить нас

фугаской немецкой.

Я прощаюсь с тобой перед дальней дорогой...

Мама, мне рассказать тебе надо...

Идут твои дети неотступно и строго
в наступление от стен Сталинграда.

Мама, слышишь, зовут нас, мы уходим, пора нам...

Я становлюсь перед могилкою на колени.

Я тебя не увижу...

Прощай, моя мама!..

Дорога к миру — лучшее из направлений.

Тетрадь девятая

ПРОЩАНИЕ С СЕРЕЖЕЙ

— Ну, Алеша!..

— До свиданья, мой милый...

Сережа, не расставались ни разу.

Что же делать?

Время нас научило
подчиняться боевому приказу. —

Мне, Неходе и Семе —

в тыл,

на танках учиться.

Серсже —

звездочку на погон пехотинца.

— Помнишь, как мы выходили из окруженья,
женщины хлеб почерневший нам выносили,
чтобы только мы снова

обратились в движение
с оружием

по просторам России.

— До свиданья! — повторяет Сережа.
А сами не верим еще в расставанье,
и отвернуться друг от друга не можем,
для того чтоб меж нами легли расстоянья.
— Ты не забудь меня! — говорит он.

И тут же
к дыханью моему подкатывается комочек,
воротник гимнастерки становится туже,
а минуты расставанья —

короче.

— Ты помнишь, как мы уезжали впервые,
на фронт

из Москвы вырывались упрямо.

И меня

твои провожали родные,

И меня

поцеловала твоя печальная мама.

Мы весело отмахали любимым,
мы тогда не задумывались над такими вещами...

Маме я обещал привезти тебя невредимым.

Как же теперь мне выполнить обещанье?..

— Ты помнишь Селезневу мамашу?

— А учитель Остужев, следит он за нами?

— Они ведь победу отпразднуют нашу.

Мы выдержали сталинградский экзамен! —

Из штаба мы выходим ватагой

и говорим притихшими голосами,

а ветер перебирает наши бумаги,

чтобы развеять разноголосицу предписаний.

— Ты теперь не забудь без меня этой даты.

— Даты, какой?

— Не запомнишь... едва ли:

двадцать девятое октября? Голова ты...

— День рождения.

Так и не пировали... —

Ветер щеки надувает все туже,
старается так, что птицы смеются,
а он все дует на прозрачные лужи,
как будто чай попивает из блюдца.
— Будьте дружней, — наставляет Сережа.
— Учиться не время...
— Объясни им, Нехода,
Сталин шлет, значит, танки нужны!

Я бы тоже

с вами поехал...

— Не отпустят: комвзвода!
— Алеша, ты напиши, между прочим,
с Неходой и Семой веселее вам вместе.
— Но Сема беспокоится очень
о своей кировоградской невесте,—
пошутил я неуместно и грубо.
— Ну, не сердись. Ты ведь любишь? Чего же!
— В Кировограде будет встречать тебя Люба,
вот увидишь, — обнял Сему Сережа.
— Ну, Алеша, я тебя не забуду.
Много пройдено вместе! —

Он подал мне руку.

— Но ничего, враг один у нас всюду.
Это тоже нам облегчит разлуку.
Как говорится, друг мне мой дорог,
но и к врагу я прислушаюсь тоже:
дружески скажет мне друг, что могу я;
враг же научит тому, что я должен.
Да, враг научил нас!
— Ну, до свиданья!
До встречи в отвоеванном мире,
до радости, обновленной страданьем,
до радости на московской квартире.

— Дай руку.
Прощаемся. Что же,
в день мира сойдутся пути наступлений.
— Давай поцелуемся.
— До свиданья, Сережа.

Дорога к миру — лучшее из направлений.

Тетрадь десятая
ПРОХОРОВКА

В Курской области за Обоянью
есть станция Прохоровка у мелового завода.
Мы запомнили это название
летом сорок третьего года.
А лето развернулось на диво,
в зелени пашен и перелесков,
и стрижи трепещут пугливо
над мотоциклом, пролетающим с треском.
Дорога боевая пылится
над гусеницами машин многотонных.
Заглядывая в почерневшие лица,
солнце поворачивается, как подсолнух...
Соль на гимнастерках в июле,
травы, обожженные летом,
птица, подражавшая пуле,
бабочка над лужком многоцветным.
Яблоки, поджидавшие сбора,
картошка с нового огорода,
на кухне — торжество помидора,
розового, как лицо у начпрода.
А танки все продвигаются наши,
механики недоступны и строги,

и командиры, примостившись у башен,
помогают им разобраться в дороге.
Легковые идут вереницей,
грузовики разгуделись, как пчелы,
везут автоматчиков и пехотинцев,
в пыли похожих на мукомолов.
«Мессерá» пролетают над нами
так, что трава становится на колени.
Мы теперь видим своими глазами,
что фашисты повели наступленье.
Солнце боевое восходит,
земля за клубилась в громе и гуле.
Вместе с нами в великом походе
Россия дорогая, в июле.
Да здравствует бой за правое дело!
Дым от брони поднимается горький,
солнце запыленное село
на белые гусеницы «тридцатьчетверки».

Где-то теперь наш Сережа? —
я о нем вспоминаю частенько.
— Может, в засаде где-нибудь тоже,
как мы с тобой, — улыбнулся Руденко.
Я к пушке подвигаюсь поближе
и к люку пропускаю башнера.
Сема выглядывает.
— Я вижу!..
— Видишь?
— Вижу!
— Почему же так скоро? —
Я в прицеле их бока различаю.
Вот они. Вот у нашей засады
движутся, грохоча, — и
выстрел опрокинулся рядом.

И снова, распарывая воздух,
броненосец наш пламенем облизнулся.
И еще раз зажигательный, как ракета,
к «тигру» оранжевому прикоснулся...
— Посмотрите, ребята, теперь не потушат!
— Ого! И этот задымился, ребята! —
И запылали горбатые туши
двух «тигров», раскрашенных в цвет заката.
На Прохоровку непрерывным потоком
катились все новые фашистские танки —
«пантеры» и «тигры».

Мы к вечеру толком,
подробно их изучили с изнанки.
Встречный танковый бой, как пламя, разросся,
землю поджег, утопил ее в гуле.
Стоит за нами в травах и росах
Родина, расцветая в июле.

Третий раз поднимается солнце над полем,
враг бросается с отчаянным ревом,
а мы всей силой, напряжением воли
ударом отзываемся новым.

Вчера сгорела наша машина.
Не стало радиста — бойца Сталинграда.
Сегодня на новой, вот у этой лощины,
мы ответили, расколов «фердинанда»!
Мы сидим у машины.

На шею, за ворот
муравьи наползают.

Затихло...

— Идем-ка
«фердинанда» посмотрим. Удобно распорот...
Вот убитый фашист.

— Это мы его, Семка!

— Нет, это ты, когда он из люка
обливал нас свинцом, сам огнем ошарашен.
Возьмем документы, пожалуй.

А ну-ка,
нужны они, может, разведчикам нашим...

— А вот фотокарточка!

Девушка в грусти...
Стой-ка: «Кировоград»...

Имя русское с краю...
— Дай-ка мне, — просит он, —
мы ее не упустим!

Я найду ее. Дай-ка, может, узнаю!
— Кто? — спросил я и заглох на вопросе.
С трудом разводя побелевшие губы,
он имя, знакомое мне, произносит.
— Люба?.. Это она!..

Фотокарточка Любы... —
Он уходит, шатаясь, к убитому в поле:
— Руденко! — кричу я. — Не ходи туда, Семка! —
Я его догоняю. Он стонет от боли.
— Вот имзена ее, — говорит он негромко...
Он смотрит на фото.—

Как лицо мне знакомо!..
Что же это, Алеша? — шепчет он, замирая:
— Ты порви это, ты забудь это, Сема!..

В дыме,
в грохоте поле
от края до края:
День четвертый мы начинаем атакой.
Жара поднимается.

Расстегнув гимнастерки,

Мы срослись с нашим мчащимся танком,
с грохотом нашей «тридцатьчетверки».

И вот

пятнадцатого июля,
уползая на передавленных лапах,
враг разбитый покатился, ссутулясь,
от Прохоровки, направляясь на запад.
О, солнце после душного дыма,
шаг по направлению к победе!
Посевы на нашем поле любимом!
«Тридцатьчетверка», на которой мы едем!
— Посмотри, — говорю я, — вот поле разгрома!
«Тигры» еще продолжают дымиться,
эсэсовцы расположились, как дома,
в землю уткнув искаженные лица.
Бельфингеру надо бы бегать за нами,
чтобы иметь доказательства в споре, —
для наблюдений над арийскими черепами
здесь ему хватит лабораторий.

Нехода кричит:

— Ничего, будет время —
вернемся мы к миру, опаленные дымом,
и процесс показательный устроим над теми,
над теми, кто изменяет любимым.
— Нас полюбят! Мы красивые, Семка! —
говорю я. —

Научились мы драться!
Ведь это наша с тобой работенка!.. —
Руденко пробует улыбаться.

Солнце оседает за полем,
растягиваются лиловые тени.

Мы «тридцатьчетверку» заправляем газойлем,
потом садимся —

котелки на колени.

Командующий, наблюдая за нами,
очки снимает, чтоб глаза отдохнули.

Усталыми улыбаясь глазами,
выпрямляется на брезентовом стуле.

Когда же

запад затушевывается закатом
и восток поворачивается к восходу,
он, смирно став перед аппаратом,
докладывает о сражение народу.

А мы — по машинам!..

Нам лучшей не надо
команды!

Развернулись мы круто.

— Вперед! — это лучшая боевая команда
и направление боевого маршрута.

Тетрадь одиннадцатая

ДОРОГА

Июль неистовствует на исходе.

Солнце готово вскипятить водоемы:

Воротники расстегивая в походе,
по Украине раскаленной идем мы.

Пшеница кивает нам колосками,
усики по ветру растопырив,
и шепчет:

«Посмотрите-ка сами,
как я изранена остриями разрывов».
Птицы кричат нам:

«Проходите скорее, —
видите, некуда нам опуститься».

И мы спешим.

Запылились и загорели
наши похудевшие лица.

А ветер, срываясь с прикола,
толкает нас с небывалою силой.

Дом помахивает вывеской:

«Тише. Школа!»

И мы уходим, чтоб тишина наступила:

«Спешите!» — нам кричат перелески.

«К миру!» — зовет нас пожарища запах.

И Лопань в серебряном переплеске
повторяет нам:

«На запад, на запад!»

Белгород уже дышит свободно,
но бой к нему еще доносится глухо,
а теперь мы прорываемся с ходу,
сразу — в Золочев и Богодухов.

Выстрел наш поднял по тревоге
фашистов полусонное стадо.

«Тигры» зажженные вдоль дороги
огнем подкалиберного снаряда!

Самолетами перечеркнуто солнце.

В траву бы запрятать обожженные лица,
воды холодной зачерпнуть из колодца —
и вперед,

чтобы не дать закрепиться.

Пленные потрескавшимися губами
«капут» выговаривают пугливо.

Но мертвые, распластавшись рядами,
высказываются более красноречиво.

Двадцатого августа,
ночью, взрывами взрытой,
немцы в панике бросились,
не предвидя отсрочек,
по единственной дороге,
открытой
из Харькова на Люботин, на Коротич.
Наш танковый взвод,
получив задачу,
мимо Коротича,
ночью душной и темной,
к шоссе прорвался и свиданье назначил
с убегающей немецкой колонной.
Пушки, высунув белые жала,
так грохотали, что машина взлетала,
дорога раскачивалась и визжала
в крошечке раздавленного металла.
Радисты к пулеметам пристыли
и, прицеливаясь в самую гущу,
поворачивая дуло, косили
так, что ноги подкашивались у бегущих.

— Стой! — крикнул Сема, вырываясь из люка.
Механик затормозил.

Я гляжу удивленно:
у разбитой машины, вздымая дрожащие руки,
четыре немца стояли перед Семеном.

— Возьмем?

— Зачем они, направляй их вдоль пашни,
сами дойдут, тоже — важные лица!

— Разрешите, я их устрою у башни,
может, в штабе какой-нибудь из них

пригодится!..

Мы осторожно продвигаемся снова,
машина гусеницами прощупывает воздух.
Нехода чудовищным чувством слепого
нас приводит до рассвета на отдых.
Утром комбат подошел: — Ну и немцы!
Где вы взяли таких. Не добились ни слова.
В штаб переправили, стоит к ним приглядеться.
Как машина?

— Все в порядке, готова.

— На, часы вот,

нашли после них —

под скамью затолкали

На крышке — прочти-ка — «Буланов».

— Башнеру отдайте,

наверно, у раненого иль убитого нашего взяли,

шакалы.

— Бери, Руденко, и вспоминай о солдате...

Истомленные травы,

замирая от света,

встают, выпрямляя онемевшие ножки,

узнать,

как проходим мы средь горячего лета,

и аплодируют в крохотные ладошки...

Вот и сосны закачались от ветра.

В зелени совхозов и парков,

от нас на двенадцатом километре

завиднелся ожидающий Харьков.

ТАМАРА

— Я ничего не подозревала, ни капли.
Потом прибежали подруги.

И тут-то
о войне я узнала. О том, что напали.
Мы все собрались во дворе института.
Потом проводили ребят.

На вокзале
стеснялись других.

Не простились мы толком,
друг другу чего-то не досказали.

Не верили, что расстаемся надолго...

— Рассказывайте, Тамара...

— А вскоре
на окопы уехали всем факультетом.
Роем землю и чувствуем — надвигается горе.
Гул боев нарастает над небом нагретым,
Сначала бомбежки пошли — было жутко!
И не успели мы оглядеться,
как танки полезли и в промежутках —
мотоциклы.

Мы увидели: немцы!

Мы в окопы попрыгали тут же.

Кто в лес. Попрытались за деревья.

Кто за то, чтоб дорóгой, — «а то будет хуже».

Мы с Зиной и Тосей — скорее в деревню...

— А когда,— говорю я, — это было, Тамара?

— В октябре. —

Передо мною поплыли
первый бой, Вася, скрученный жаром...:

— Вы о чем?

— Я припомнил, где мы тогда были.

— Расскажите!

— Потом,— говорю я несмело.

И чувствую, как на щеках загораются пятна.

— А мы, понимаете, прошлое дело,
идем и ругаемся: «Где же наши ребята?»

— Однажды идем мимо дома —

открывается дверь. И мы видим, что вышел...

«Хальт!» Мы стали. Подошел, как к знакомым,
поклонился.

Мы стоим и не дышим.

«Гутен таг!.. Вы куда?..»

Мы в ответ — по-немецки.

Он тоже на Харьков.

— Подвезу вас, поверьте...

Он — в кабину. Мы — в кузов.

Летят перелески.

Зинка шепчет дорогой:

«Культурные, черти...»

— А что с ней теперь?

— Это с кем?

— С этой Зиной?..

— Потом расскажу я...

На этой трехтонке

приехали в Харьков.

И прямо с машиной —

во двор незнакомый.

Слезают девчонки.

Смотрим — тут немцев целое стадо.

Один мне в плечо ухитрился вцепиться,

Я вывернулась —

и в ворота от гада.

Тоська — тоже...

— А та не бежала от фрица? —

Сема спрашивает, бледнея,
и за руку берет ее грубо...

— Понимаешь, Тамара, дело не в ней, а...

В Кировограде была у него такая же... Люба...

— Какая «такая же»? — спрашивает Тома.

— Ну, я потом! — говорю. — Продолжайте...

— Зину сцапал один, привязался до дома,
там на суд комсомольский

попал провожатый...

Здесь, на Рыбной у нас,

за высоким забором,

недалеко тут, дома через четыре,

немцы гараж устроили скоро.

Шофер в ноябре стал у нас на квартире.

Глаза сначала все прятал под брови,
не разговаривал.

Но однажды, представьте,
открыл, что зовут его Павел Петрович,
в плен попал...

Сема крикнул: — Предатель! —

Я опять усаживаю Семку.

— Да, — продолжает Тамара, —

но все это после,

а сначала ухаживал потихоньку,

говорил, что не пропаду, что легко с ним.

А я все молчала. Я боялась вначале.

Убежать? Но куда? По дороге бы сцапал.

А он все нахальней, словно немец, начальник!

Он работал на машине гестапо —

вешалка наша в вещах потонула.

Откуда он брал их? Грабежом иль обманом?

Пальто привез однажды.

Толкнуло

меня как будто: «Посмотри по карманам».

И вот что нашла я — храню. Это память.
Читайте! —

Я взял у Тамары листочек.

«Товарищи! Что же делают с нами?

Прощайте. На расстрел повезут этой ночью.

Скажите маме — Полевая, одиннадцать, —
что сил больше нет. Я уже не живая.

Прощайте, друзья!

Ларионова Зина».

— Зина!.. — мы задохнулись, вставая...

— Убить бы его, но свои не велели:

у меня собиралось бюро комитета.

Сводки наши на заборах белели,

мы расклеивали их до рассвета.

Воззвание подготовили к маю...

Деньги, гад, приносил: «Не надумала? Мало?

Или ждешь комсомольца? Не придет, я же знаю...»

«Трусит», — видела я и молчала.

В мае пошла я для связи в Полтаву,
сделала вид, что на менку, за хлебом.

Но дорогой мы попали в облаву —

и закрыли от нас родимое небо.

Теплушки потащили нас к аду,—

в Нюрнберг. Там нас тысячи с лишком.

Нас продавали, выписывали по наряду.

Словом — рабы, как читали мы в книжках.

Я и рассказывать не буду про это,

просто жить не хотелось на свете...

Харьков спит еще.

Пролетела комета.

«Умер кто-то»,— вспомнил я о примете.

— Ты устала, — говорю я,— Тамара?

— Я-то — нет. Вы с дороги, ребята,
давайте чаевничать у самовара.
Сколько времени? Спать хотите, а я-то...
— Нет, — говорю я. — Тамара, чайку бы! —
Сема тоже: — Конечно, Тамара. —
Сами смотрим на Тамарины губы,
отраженные в боку самовара.
«Если б мог я оградить тебя от удара! —
думаю я. —

Если б Вася был с нами!
Не рассказал я...

Узнаешь — горю не поддавайся!
Если бы перемениться могли мы местами —
я остался бы там, а вернулся бы Вася!..»
— А помните, как мы жили, бывало?
Даже сердиться не умели — ведь так же?
Родина в нас любовь воспитала,
воевать мы и не думали даже.
Мы знали: нападать мы не будем,
но если затронешь нас — образумишься мигом.
Мы на честное слово верили людям,
пактам дружбы,

жалобным книгам!
Когда напали вероломно и низко,
я увидела, как бьют человека.
По щекам меня отхлестала фашистка,
называя рабой

в середине двадцатого века.
Ценою жизни
до оружия добраться
решила я.

День наметила.
Вскоре
хозяйка моя шумно встретила братца:

фронтовик на побывке, Эгонт Кнорре.

— Эгонт? Постой, ты не ослышалась, Тома?

— Нет.

— А какой он?

— Ну, высокого роста.

Почему вы спросили?

— Имя что-то знакомо.

Продолжайте. Совпадение просто...

«Эгонт!» — думаю я, и застучало сердце.

Я вспоминаю сутуловатую тушу,
когда нам к фашистам удалось приглядеться,
впервые проникнуть в их преступную душу.

«Эгонт!» — Вася кричал, в лихорадке сгорая...

— ...Гости от радости били посуду.

Эгонт расписывал Брянщину.

Гости просили:

«Нам местечко!»

«Я своих не забуду!

Только рабов для себя оставим в России...»

Три месяца шла,

и хотела одно я —

слиться с Отчизной.

Неведомой силой

влекло сквозь кордоны на поле родное,

слезы хоть выплакать Родине милой.

Не помню, как вышла из огненной пасти.

Я не забуду о тягостном плене!

Любимая Родина, благослови нас на счастье!

Дорога к Родине — лучшее из направлений.

ОСЕНЬ

Еще два месяца пролетело.
После Харькова уже свободна Полтава.
Земля покрылась листвою, пожелтела.
Днепр осенний, паромная переправа.
Висит над водой дымовая завеса.
Танки движутся плавучей дорогой,
сваливаются с берегового отвеса —
в бой внезапный

за Мишуриным Рогом.

Солнце появляется реже,
тучи провисли от тяжелого груза,
осыпается дождик над правобережьем,
коченеет неубранная кукуруза.
Утром трава отзывается хрустом,
дорога блестит, как рельсы узкоколейки.
В полдень —

грязь расползается густо.

А кто-то дождь все вытрясает из лейки.
Встают по утрам холодные зори.
Иней покрывает замороженные травы.
И туман раскинулся морем,
покачиваясь над берегом правым.
За головы крыш ухватились хаты
и причитают над кромешной воронкой.
Камышовые волосы пожаром объаты.
О, горе матери в голосе звонком!
К смятым заборам прижимаются дети,
красноногие, как утята.
Немецкие пятитонки — в кювете,
перевернуты и не выйдут обратно.
В грязь окунув посиневшие уши,

фашисты лежат, застилая пригорок,
как будто расположились подслушать
походку наших «тридцатьчетверок».
«Тигр» молчит, краснея от злобы,
уже ржавеет, дождями освистан.
Как руку, завернул он свой хобот,
будто решил покончить самоубийством.
А мы, измазанные, как черти,
прорываемся невероятным порывом
и вопрос о собственной жизни и смерти
откладываем на послевоенный период.
Торопимся уйти от морозов,
закуриваем от схватки до схватки.
Зато уже голосами паровозов
разбужена станция Пятихатка.
Высокие стрелы вышек стреножив,
ожидая трудовое гуденье,
встречают нас рудники Криворожья —
мирныхстроек месторождение.

Заря поднимается узенькой кромкой.
Октябрь на исходе.

Просыпается роща.
Мы на танке устроились с Семкой,
и — морозец нас изучает на ощупь...
Листья слетают.

Скажи-ка на милость!
— Это осень, — говорю я ребятам.
Вдохну — как запахла!
Взгляну — как она засветилась!
Как сосновая щепка, пронизанная закатом.
Вот и осень, — говорю я себе. —

Не вечен
тот закат.

Даже листья прокружатся мимо.
Осень, осень,
 тобою отмечен
каждый шаг расстоянья
 между мной и любимой!
Вот осень, оказывается, наступила!
Значит, пора.

 Чему пора? — непонятно.
Я иду и иду на свидание с милой.
Это в Харьков я возвращаюсь обратно.
Здравствуй, Тамара!
Мне не расстаться с такою.
Нам по жизни пойти не вдвоем бы,
 а вместе!
Ты — мое притяжение, умноженное тоскою.
И дорога к тебе — лучшее из путешествий!
Сосны шумят, раскачиваясь от усилий
развеять мое одиночество
 из сострадания,
и гуси расправили жесткие крылья
для того, чтобы сократить расстоянья.
Я палкой стучу по деревьям:

— Откройтесь!

Видите — я очарован осенью ранней. —
Но падают листья, сталкиваются, знакомясь,
и дальше кружатся стаями воспоминаний.
Да это не листья — ладони твои, конечно!
Это руки твои, Тамара, зовут издалека.
Где закат? Это ты загорелась навечно!
Журавли полетели?

Нет, я улетаю до срока.

Листья летят.

Все вокруг закружилось,
осень шествует по травам примятым.

Вдохну — как запахла!

Взгляну — как она засветилась!

Как сосновая щепка, пронизанная закатом...

— Ты чего зажурился? —

спрашивает Семка.—

Завтра праздник знаменательный встретим!

— Праздник? Какой?

— Ты забыл, значит. Вот как?

Двадцать девятое октября. Двадцатипятилетье!

День рожденья! Вот забыл, голова-то!

— Двадцать пять! — говорю я. — Хорошая школа.

Как же тебе запомнилась дата?

— Ну, еще бы не помнить юбилей комсомола!

Вот так та́к! Совпадение!

Даже возрастом схожи!

Двадцать пять комсомолу —

и мне, между прочим.

Как жалко, нету с нами Сережи!

Он не знает об этом.

Интересно уж очень!..

— А мне двадцать два будет скоро.

Поговорить мне хотелось с тобою...

— Что случилось? Время для разговора...

— Я хочу коммунистом стать

к новому бою.

Я прошу, чтобы ты поручился, дал руку,

чтобы все рассказал мне, как надо.

Ведь тебе же известна, как другу,

моя биография от Сталинграда.

«Знаю твою биографию, Сема,—

думаю я,—

биографию века.

Биография эта Отчизне знакома,

всему поколению, до одного человека.
О, поколение наше с оружием!
Комсомольцы, проверенные в атаках!»

Мы за башню завернули от стужи,
согреваемся дыханием танка.

Комсорг подходит с тетрадкой синей.

— Привет! Принимаю комсомольские взносы.

— За октябрь? Хорошо! А скоро мы двинем?

— А готовы? — он отвечает вопросом.

Сема взял свой билет голубой,

с силуэтом Ленина.

— Товарищ комсорг, взгляните, —

и показывает страницу,

где Семина карточка кем-то приклеена. —

Похож я? Странно! Не успел измениться!

А это, товарищ комсорг, —

говорит он степенней, —

моя биография описана чисто:

от сентября к сентябрю

вписаны суммы стипендий,

от сорок третьего — содержание танкиста!

— Это так, биография! — говорит Одинокое. —

Посмотри — вот билет, разверните страницы.

Это пуля прошла. Вот от крови намокло.

Вот биография, которой можно гордиться! —

Тогда я с танка спрыгиваю, как с откоса,

иней стираю с брони — он искрится —

и надпись читаю:

«Комсомолец Матросов».

Вот биография, которой можно гордиться!

Сема, ты слышишь, я был с тобою вместе.

Нам с тобою в боях довелось породниться.

За тебя перед партией отвечаю по чести.
Твоя биография — ею можно гордиться!

Вот-вот тишина от удивления ахнет.
Дождь линует косую линейку и мочит.
Танк наш теплом и спокойствием дышит.
— Двадцать пять комсомолу!

И мне, между прочим
двадцать пять! — восклицаю я громче. —
Ты слышишь, выхожу я из школы.
Мой комсомольский возраст окончен.
— Знаешь, хорошо бы быть самым комсомолом!
— Почему это, Сема?
— А просто:

мы — все старше становимся, строже,
а сколько ни живи он, хоть до ста,
все равно он —

Союз молодежи!

И юностью все равно он украшен,
как флагами на Первомайском параде.
И песни также будут на марше,
и молодость в физкультурном наряде.
И праздновать будут столетье
юности белозубой и крепконогой.
Никогда не доведется стареть ей
и вздыхать перед далекой дорогой.
Юность,

еще не окрепшие руки!
Путешествие дорогою ранней.
Веснушки на щеке у подруги,
вдохновенье комсомольских собраний.
Юность —

знаменосцем у Первомая!
Сила в неостывающем теле!

Первое «люблю», задыхаясь,
первый раз в красноармейской шинели!
Ахнула тишина, раскололась,
наш танк сияет бронированным лоском.
Над рекой Ингуленц его орудия голос
раскатывается на тысячи подголосков.
— Сема! — кричу я. —

Я подумал о многом.

За тебя я ручаюсь на огненном поле...

Мужеству нашему — двигаться с партией в ногу!
Юности нашей — вечно жить в комсомоле!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Тетрадь четырнадцатая

ВРАГИ

— Да читай ты погромче, не слышу ни слова! —
сержусь я. —

Дальше, на обороте... —

Нехода старается, но ребята все снова
загораются гневом.

— Ребята, постойте!

— Нет, ты послушай этого вора!
Черным по белому написано на бумаге,
так и ответил на вопрос прокурора:
«Да, я делал посадки в «газваген».

— А, этот, что работал у Гесса!

— Тише, читаю! —

Мне становится жарко. —

«Продолжение Харьковского процесса.
ТАСС. Утреннее заседание, Харьков...»

Ганс Риц: «Нас учили: как низшая раса,
русские нами могут уничтожаться...»

— Вот как! Слышите! —

останавливается водитель.

Гневный шум по кругу разросся.

— Вот вам наука фашизма, глядите...

— Нам бы прислали его для допроса!

— Чтение продолжаю! Молчите!

Фашист, познавший ученье о расе,
почему же твой школьный учитель
не сказал тебе, что я не согласен?!

Ганс Риц,

почему ты за партой в хохшуле
не узнал предварительно о нашей науке?
Ты думал, что у меня

пуховые пули?

Или — что слабее твоих мои руки?

Когда ты впервые крикнул «Хайль Гитлер!»
и узнал, что ты — сверхчеловек,

в тридцать третьем,

я мелкокалиберку рукавом своим вытер
и притаился в пионерском секрете.

Мне тоже было тринадцать,

когда ты

шел по Шербургу на фашистском параде,
а я

«Смерть фашизму!»

носил на плакате,

когда шумел Первомай в Сталинграде.

Когда возглавлял ты «Суд чести» —

суд над честью и совестью репетировал в школе,
неужели не знал ты,

что с политграмотой вместе

я оружие изучил в комсомоле?!

Меня учили быть достойною сменой
труда и свободы. Культурой гордиться.
Тебя учили: ты — владыка вселенной,
чтобы взламывал ты чужие границы.
Меня в университете учили,
как надо работать для торжества человека,
тебя — рассчитывать на километры и мили
свои шаги по пожарищам века.
Мать тебя проводила не близко,
только чтобы мою ты сделал рабыней.
И любимая твоя погнала тебя с визгом,
чтобы я не увиделся

со своею любимой.

Ганс Риц,
ведь они же плакали, дети.
«Мы к дяде поедем!» — ты придумал им сказку,
а сам расстреливал их на рассвете.
Они умирали, отразив тебя в глазках.
Ганс Риц, ты забыл в ту минуту,
что и я взял оружие опытными руками.
И мы сошлись, поворачиваясь круто, —
ты и я,
вы и мы.
Так мы стали врагами.

Я гляжу на газету, исчерченную допросом,
и вижу Тамару,
бровей разведенные стрелы,
волос ее золотистую россыпь,
глаза ее,

как они в сердце смотрели!..

А ветер опять за свое —

не сидится!

Снег из-под танка выметает он с гулом,
в щель смотровую с налету стремится,
дует в орудийное дуло.

Нехода читает показанья арийца.

Ребята молчат, слились воедино,
решимостью дышат их суровые лица:
быть фашизму на скамье подсудимых!

За все преступления перед миром ответит,
от возмездия не уйдет поджигатель!

Сема опять приникает к газете:

— «Допрашивается шофер душегубки...» —
«Предатель?!» —

В сердце какой-то догадкой кольнуло.

Память мучительно перелистывает страницы.

И сердце, поворачиваясь, отзывается гулом:
знакомое имя!

Что могло бы случиться?..

(Харьков.

Да, это верно, но что же?

Предатель, шофер?

Нет, не помню такого!

А память тасует: «Похоже, похоже!..

Харьков. Тамара. Знакомо. Знакомо...»)

Прокурор: «Расскажите, подсудимый Буланов,
о вашем участие в поездках за город».

Подсудимый: «В гестапо задача была нам
на расстрелы возить. Я работал шофером».

Прокурор: «Вам платили за это?»

Буланов: «Платили мне семьдесят марок».

(А память моя озаряется светом:

«Ночью в Харькове. Мы с Семеном. Тамара.

Сначала глаза он прятал под брови,
не разговаривал.

Но однажды, представьте,

открыл, что зовут его Павел Петрович,
в плен попал...»

Сема крикнул: «Предатель!..»)

— Ага!

Я придвигаюсь поближе. —

Сема, я что-то припоминаю, читай-ка!

— Постой, — шепчет Сема, —

тут где-нибудь ниже.

Ага, вот! Свидетели. Выступает хозяйка:

«Здесь, на Рыбной у нас, за высоким забором,
недалеко тут, дома через четыре,
немцы гараж устроили вскоре.

Шофер с ноября стал у нас на квартире».

— Вот как!

— Значит, поймали иуду!

— Настигла и этого справедливая кара!

Возмездие наступает повсюду.

Суд верши беспощадный, Тамара!

— Сема, вот Тамаре награда:

рабовладельцы — на скамье подсудимых.

— Предательство умирает под взглядом
верности и надежды любимых!..

Я гляжу на газету, исчерченную допросом,
и вижу Тамару,

бровей разведенные стрелы,
волос золотистых ее летучую россыпь
и глаза ее,

как они ясно смотрели!..

— Ну и зима! Хоть скидай полушубок,
валенки снова принимают начхозы,
и сдали бы, если только к утру бы
неожиданно не возвращались морозы.

— Интересно узнать бы, ребята,
кто поймал эту зондеркоманду?.. —
Поле белое ветром измято,
опять расходился он, и нету с ним сладу.
— Вы помните, ночью мы захватили
немцев, подкосив их трехтонку?
— А правда, может, это и были
эти самые...
— Отойдем-ка в сторонку.
— Ты что?
— Я вспомнил, — шепчет мне Сема.
— Про что?
— Посмотри. —

Он часы достает из кармана. —
Коротич ты помнишь?
А это имя знакомо?..
Я раскрываю часы и читаю: «Буланов».

Зимний вечер на исходные вышел,
северный ветер поднимается, хлесткий.
Мы у танка собираемся, пишем
путь дальнейший на квадратах трехверстки.
(На рассвете выйти на местность,
выбрать дорогу по камням и корягам,
тихо выдвинуться на север, —

там лес есть,
прикрыться неглубоким оврагом...)

А ветер забирает все круче
и снег перегоняет с места на место,
потом устает и, снежинки измучив,
садится,
за звездами наблюдая с нашеста.

КИРОВОГРАД

**Рассвет сигналом махнул долгожданным.
Лелековку гусеницы жевали.**

**Фашисты, стальным охваченные арканом,
из города просочатся едва ли.**

**Мосты запрудив и дороги притиснув,
город совсем опоясали за ночь,
окраины города — наши танкисты,
солдатские хутора — партизаны.**

**Четвертого землю, покрытую мраком,
небо снегом осыпало черным и крупным,
немцы разлеглись по глубоким оврагам,
половодье перепрыгивало по трупам.**

**Пятого января на рассвете
город, глаза нам пожарами выев,
наши машины разгоряченные встретил,
подбрасывая под них мостовые,
протягивая нам мосты и заборы,
улицы-руки простирая нам с гулом.**

**Пошли перед нами следопыты-саперы,
пехота — сразу к центру шагнула.**

Улицы пересекают траншеи.

**Радисты разглядывают их пулеметом,
фашисты присели там, вытянув шеи,
как будто их одолевает дремота.**

**Улицы отзываются громом и хрустом,
потом все обрушилось,**

закружилось,

сломалось.

В эту минуту стало тихо и пусто,

так тихо и пусто,

что воробьи испугались.

«Город свободен, —

оставаться на месте!» —

Радист передал приказание комбата.

Сема горько сказал:

— Вот, приехал к невесте...

— Выходите, выходите, ребята! —

Мы оказались в бушующем круге.

Зная, что их ни за что не осудят,

девушки, вскинув легкие руки,

встают на носки, зажмуриваются и целуют...

Солнце поднимается выше.

Январь в начале. А такая погода!

Уже почернели задымленные крыши,

как механики после большого похода.

Сосульки, желтые от дыма времянок,

свесили хрупкие ноги с карнизов.

На шпиль над каланчою румяной

клок облака утреннего нанизан.

Девушки смеются от счастья:

— Как мы ждали вас! Как мы ждали, родные!.. —

А Сема курит хмуро и часто.

— Хорошо, если так, а бывают иные...

— Не смеее так, вам просто налгали.

За наших девчат поручиться мы можем.

Все, кто тут оставались, мы вам помогали. —

Сема сердится:

— Ну, не все, предположим!..

— Мы не знаем такой. Призывайте к ответу!

Подождите, узнаете, как мы боролись!

— Вы все же напрасно ручаетесь. Эту

я-то знаю, — надрывается голос.

— От рабства сумели отбиться,
на ходу из вагонов прыгали в двери, —
горькие слезы дрожат на ресницах. —
Мы не думали, что нам не поверят.
— Не плачьте, — говорю я, — ну что вы!
Значит, хорошо. Этим можно гордиться. —
А Сема подсказывает снова:
— Но не все так. Есть отдельные лица!
— Есть, — говорю я, — не спорьте, девчата.
Вот одна так совсем встрече с нами не рада.
Скоро она будет к стенке прижата.
— Кто такая?
Сема шепчет: — Не надо! —
Я замечаю сигналы радиста
и к машине иду. Не досказано, жалко:
— Что случилось?
— Приказ: «Сосредоточиться быстро.
В восемь тридцать. Около парка».

— Прощайте! — говорю я. — Пора нам, девчата.
— Жалко. Так скоро. Заедете, может?
— Может, заедем по дороге обратно, —
говорю я,
а что-то сердце тревожит.

Сема вдруг:

— До свиданья, Раиса! —
И легонько в плечо ударяет ладонью. —
До свиданья, Свиридова. Мышей все боишься?
Руку, Горкина, имя ваше не помню... —
И сразу стало тихо в округе.
И слышно — капли постукивают о камень.
Девушки, прислонившись друг к другу,
изумленными поблескивают зрачками.

Словно молния тишину осветила,
на Сему обрушились и руки и губы.
— Сема, Руденко, что же ты, милый!
— Что же ты! Опоздал ты! Вот если бы Люба...
— Что с Любой? — спрашиваю, замирая. —
Не плачьте! — приказал я им строго.
Лицом к броне прислоняется Рая.
— Не успел ты. Ты бы раньше немного.
— Не удалось ей спастись...

Как ждала тебя, Сема...

— После побега мы летели, как птицы...

— Где она?

— Стали у них эсэсовцы дома.

Когда вернулась...

Гад решил объясниться.

В морду кружкой влепила — согнулась жестянка.

Ты помнишь, ведь умела подраться!

Он донес на нее, этот немец из танка.

И угнали ее в Германию. В рабство...

Танк грохочет вдоль переломанных улиц,
и тишина отпрыгивает к заборам.

— Сема, мы еще не вернулись!

— Не вернулись и вернемся не скоро.

— Сема! — кричу я. — Не прощу себе сроду
за все, что о Любе...

Называл тебя тряпкой.

Она научила нас верить народу... —

Сема склоняется над боеукладкой.

В парке закипает работа,

пока еще слышны выстрелы где-то,

в бригаду вызывают кого-то,

кто-то песню запекает про Лизавету.

Сема отправился к Любиной маме,

мы «тридцатьчетверку» заправили нашу
и обедаем — я, радист и механик.

Дождик накрапывает нам в кашу.

Девушки, улыбаясь несмело,
идти стесняются в изношенных платьях,
друг друга подбадривают:

— Подумаешь, дело!

Не засмеют нас, понимают же. Братья! —

Потом они подходят поближе,

умытые дорогими слезами.

Я гляжу в котелок — и ничего не вижу.

Дождь ли это застилает глаза мне?

К губе подбегает горячая россыпь,
языком ее — солоноватая жидкость.

Читают девушки: «Комсомолец Матросов».

Просят нас: — Кто это, расскажите! —

Истребители пролетают над нами.

— Русские! — крикнули девушки и запрокинули
лица.

Радист спросил: — Вы не русские сами? —

Стало слышно, как весна шевелится.

— Наши! Выражайтесь яснее.

Наши, слышите, это наши летят-то...

— Наши! — девушки шепчут, краснея.

— Наши!.. — повторяют девчата.

Город обдут январем необычным,
окна сияют теплыню досрочной,
и смех мешается с говором птичьим,
с грохотом трубы водосточной.

Коля, радист наш, отбросил окурок.

— За Уралом нам придется жениться!

— Почему так?

— А что же, — отвечает он хмуро, —
тут каждая нагладелась на фрица.

— Брось наговаривать на девушек, Коля, —
обрезал механик.

— Что, неверно, Нехода?

— Что же они, не советские, что ли?

— Дело не в этом, а привыкли. Три года!

— Привыкли? А тогда почему же
они из Германии под пулями убегают?

Ничего не страшило их: ни голод, ни стужа!

Кто листовки тут издавал к Первомаю?

Не их ли фашисты водили под стражей?

Хлеб несли они партизанским отрядам,
в старье наряжались, и мазались сажей,
и горбились, чтоб не понравиться гадам...

Фашизм на них обрушился втрое,
тоску по свободе

они испытали всем сердцем.

Мы на танке —

нас возводят в герои,

а они,

безоружные,

не поддались иноземцам!

Мы перед ними должны извиниться.

Они страдали не меньше любого солдата.

А то, что они оказались в лапах у фрица,—
в этом, друг мой, мы с тобой виноваты.

«Так, так, — думаю я, — вот так лупит!

Бьет по радисту, а по мне попадает.

Это я ведь тогда разуверился в Любе,
и не Семку,

а народ свой обидел тогда я».

И опять прислушиваюсь к Неходе:

— Не смеем плохо думать о нашем народе!

Нашим девушкам мы не смеем не верить! —

Оправдывается радист:

— Я ведь тоже,

сам знаешь, не последний в сраженье.

— Ну, это каждый обязательно должен.

Это ведь долг твой, а не одолжение.

— Есть такие, — продолжает механик, —
в хату прет не спросясь, гордо ноги расставит,
за стол еще залезает нахально,
а не то — так кричит:

«Немца вам не хватает!»

Мы, ребята, судить этих будем,
за оскорбление народа —
получайте по шее!

Мы идем не за помощью,

а помочь нашим людям,

чтоб утешить, а не искать утешений!..

Нет, не прав ты, Коля, не так ли?

Наши девушки! Ими надо гордиться,
это тебя они в страдании ожидали,
ты обязан в ноги им поклониться!

«Так, так, — думаю я, — это дело!

Верно, парторг, это верно, Нехода».

А радист оправдывается несмело:

— Я ведь так,

есть такая разговорная мода...

— Это верно, — говорю я, — так что же,
понятно, радист? Где же будешь жениться? —
Он смеется: — Где найду помоложе!

— А Нехода?

— Дай домой возвратиться!

«А ты?» —

мне сердце второпях зашептало
и высказывает от удара к удару
то, что мечтой моей и волнением стало.
А память рисует Тамару.

— А я, — говорю, — я еще выбираю...
— Рассказывай, командир, ну, чего там!..

— Приказано выйти
к переднему краю.
Вот дорога. Тут стрелковая рота.
Пулеметы не дают продвигаться.
Проутюжить — и вернуться к больнице,
а мне доложите в десять пятнадцать.
— Есть!
— Идите!..

— Собирайтесь жениться!.. —
Сема вернулся.
— В дорогу, Нехода!
— Не горюй, я уверен — вы будете вместе.
Ведь следом за нами наступает свобода!
Путь к любимой — лучшее из путешествий!

Тетрадь шестнадцатая
НОВЫЙ СТАЛИНГРАД

Раньше я не был на Украине,
во сне она возникала туманно.
Я знал, что там небо особенно синее,
что любимую называют коханой.
Но, впрочем, «люблю» я в пример и не ставлю.
Я знал это слово на многих языках и наречьях:
«Люблю»,
 «кохаю»,
 «аш милю»,
 «ай лав ю», —
может, думал я, пригодится при встречах!

Я не знал, что дела не вершатся речами,
что любовь можно без слов обнаружить,
о нелюбви разговаривают молчаньем,
а ненависть выражают оружием.
«Украина, — я думал, — это белые хаты,
где поют «Ой ты, Галю» и идут «до криницы»,
где солнца,
и неба,
и простора — богато,
где черешни пламенные, как зарницы.
Я знал, что стихи называются «вирши»,
что там от порога начинается травка
и солома, скрученная на крышах,
как в опере «Наталка Полтавка»...

Украина,
я полюбил тебя сразу,
твоих веселых, неунывающих хлопцев,
целящих прищуренным глазом,
и блеск заката в ясноглазых оконцах.
Я полюбил твои песни и поле,
подсолнухи с пламенными головами.
Боль твоих сел обожженных
была нашей болью,
а солнце твое — все на запад, за нами!
Земля героев, ты в огне полыхала,
войну изгоняя ради мира народу.
Много сынов твоих в этой битве упало,
но мы от фашизма оградили свободу!
Моими домами стали белые хаты,
твои просторы стали нашей дорогой.
Мамой я называл
украинскую маты

и победу
назову
перемогой!..

Спешили мы к победе и к миру,
к людям, истомленным насильем.
Фашисты, привыкшие к бандитскому пиру,
войну растягивали злобным усилием.
По нашим планам, побеждавшим повсюду,
наученные сталинградской школой,
мы устроили им стальную запруду
между Звенигородкой и Шполой.
Наша бригада, маршруты наметив,
двинулась среди темени мгlistой,
Первый фронт Украинский встретить,
заканчивая окруженье фашистов.
Два фронта встречались внезапным движеньем
на Украине завьюженной, зимней,
чтоб они,
задохнувшись в котле окруженья,
не топтались на золотой Украине.

Ночь, задыхаясь, упала с разбега,
так, что из глаз ее посыпались звезды,
и стала колючими языками из снега
все облизывать:

землю, небо и воздух.

От боя к бою движется неуклонно
бронированный пояс для немецких дивизий,
танки продвигаются гулкой колонной,
чтоб завершение к рассвету приблизить.
Наша бригада пробивается в стужу.
Пряжка к застежке подтягивается во мраке.

А ненависть требует —

**подпоясать потуже,
чтоб фашисты проснулись в настоящей заправке.
«Катюши» поджидают: «Сыграть бы!»
Они пробираются через сугробы рывками,
как будто столы подносят на свадьбу,
поддерживая над головою руками.
Плотнее стянув непромокаемые обмотки,
автоматчики едут, не думая о простуде.
Идут, покачиваясь, лобастые самоходки,
выпрямив указательные пальцы орудий.
Падает снег, настилая заносы.
Мороз свирепствует, пустоту перерезав.
С детства известно, что в такие морозы
нельзя дотронуться до железа.
Мы торопимся, за исход беспокоясь,
по узкому коридору проходит бригада.
За нами разворачивается бронированный пояс
шириной в траекторию танкоснаряда.
С боем влетели мы на рассвете
в деревню притихшую**

**и, пробиваясь на запад,
условные увидали ракеты.**

**И получили предупреждение комбата.
Потом загремело: — Здорóво! Здорóво! —
Танки горячие мы поставили клином.
Встретились воины Первого и Второго
Украинских фронтов**

на земле Украины.

**Когда рассвет начинал подниматься,
наш сосед — рота Первого фронта
поставила рядом танк «двести двенадцать»,
он красиво подошел с разворота.**

— Ты видишь, — говорю я, — механик,
что делают! Не оскандалиться надо! —
И сразу мы ощутили дыханье
разорвавшегося неподалеку снаряда.
И бросились, в разные стороны тычась,
опоясанные дивизии «непобедимых».
И все эти восемьдесят с лишним тысяч
оказались на скамье подсудимых.
Они старались вырваться с лету,
перестраивались и бросались в атаки.
А мы, осколочными рассеяв пехоту,
подкалиберными поджигали их танки.
«Тигры» на сугробах дымятся.
За нашим удачным выстрелом следом
два «тигра» разбил

танк «двести двенадцать».

— Сема, отстаем от соседа!
Трое суток битва не утихала
с вечера к вечеру.

С рассвета и до рассвета.

Корсунь-шевченковская земля полыхала
у могилы дорогого поэта.
Но пояс наш не может порваться.
— Бронебойный! — кричу я башнеру...
Но вдруг загорелся

танк «двести двенадцать»,

мы увидели пушку у косогора.
«Пантера» еще стояла на месте,
еще дым весь не вышел из дула.
Я поместил ее в центр перекрестья,
и «пантеру» огнем шумящим обдуло.
Двое из экипажа «двести двенадцать»
в сугробы выбросились, как спички.
Танк, разбрасывая пламя и сажу,

взорвался и выбыл из боевой переключки...
Перебираясь через сугробы в потемках,
в почерневшей от разрыва воронке
двух танкистов обугленных отыскали мы с Семкой,
взяли на руки, отнесли их в сторонку.
Один уже умер.

Не ответит, не скажет.
Другой — студит снег в ладонях багряных.
— Ты кто? — я спросил.
— Командир экипажа...
Бинт мокреет на затянутых ранах...
— Это ты командовал «двести двенадцать»?
Твой сосед — это я. Меня? Звать Алешкой...
Два «тигра»? Твои это, должен признаться...
Мы встретились, как пряжка с застежкой!..
— Алеша! — шепнул он. — Как же так, неудача!
Танка нет моего, а еще не готово...
Один устоишь? Не сорвется задача?
Слово дай!.. —

Я поднялся.

— Честное слово! —

Волнение меня охватило от этой
клятвы простой.

А он трепещет от жара.
Нехода из танка нас вызвал ракетой,
командир умирал уже на руках санитара.
«Честное слово»

с той минуты священной
на языке у меня перестало вертеться.
Клятву эту высокую, как приказ неременный,
произношу я с замиранием сердца...

И двинулись мы на поле утюжить,
войну задышающую связали.

Гусеницы побелели от стужи,
каска со свастикой к земле примерзали.
— К миру! Солнце обожженное, следуй!
Мир и свобода продвигаются рядом.
Мы битву завершили победой,
названной Вторым Сталинградом.

Тетрадь семнадцатая

BECHA

— Машин-то перевернутых — уйма! —
Наши танки идут,

просят посторониться.

Весна промывает освобожденную Умань.

Армии вражеские покатились к границе.

Вчера еще эти дома и заборы

издали возникали неясно,

вчера наши пушки смотрели на город

и каждый шаг наш подстерегала опасность.

Сегодня мы едем, и люки открыты.

Регулировщик у каждого поворота.

Крылья «оппелей» хозяйкам пошли на корыта,
а дверцы изображают ворота.

Рядом два остановленных «тигра».

Вчера они смерть возили за бензобаком,

сегодня ребяташки на них затеяли игры, не церемонятся, как с домашней собакой.

Поросенок уткнулся в немецкую каску, интересуется: это что за посуда?

Воробыи, поворачивая круглые глазки,
над каской повели пересуды.

А время продвигается странно,
как волжские берега с парохода.

Из завтра в сегодня
претворяясь неожиданно,
из настоящего в прошлое переходит.
Жадность моя во времени — непобедима!
Вместе бы —

 день ушедший и приходящий!
Чтоб время сплавилось при мне воедино,
прошедшее с будущим — в настоящем.
Но время продвигается с нами,
оно не испытывает отступлений.

В кроватках,
 размахивая розовыми кулачками,
кричит, просыпаясь, новое поколение.
Уже стучатся в землю новые травы.
В отростках новые закипают деревья.
На остановки не имеем мы права
и продвигаемся по закону движенья.
Идем по закону нашего гнева,
по закону любви, закаленной в страданье,
всей силой наступательного нагрева
идем,

 выполняя боевое задание.

Жидкая грязь заливает по башню,
у пехотинцев разрисованы лица,
глядеть на дорогу становится страшно,
чтобы в небо нечаянно не провалиться.

Время движется.

Вот мы в апреле.

Солнце на гусеницах ежится колко
и, сразу врываясь в тонкие щели,
на приборах устраивает кривотолки.

На запад! На запад! От боя до боя.

— Смотри, как бегут! — крутим мы головами.

Гибнут замыслы мирового разбоя.
Светлый мир наш оживает за нами.
Люба! Мы найдем тебя у Берлина!
Мы расправимся с бегущей оравой.
Проходят, покачиваясь, машины
зыбкою речной переправой.
Я на небо и землю

 гляжу с удивлением:
— Сема, подумай, сколько прошли мы
речушек, и рек, и полей, и селений,
и все это земли

Отчизны любимой!..

Мы изучали географию в классе,
полезные ископаемые — угли и руды —
и место, окрашенное краскою красной,
обводили указкой за полсекунды.
Урал был рудой,

 Украина — пшеницей,
Курск — с магнитной аномалией сросся.
Столбик раскрашенный — это граница,
море Черное — это песня матроса.
В это же время

 на уроке в ди шуле
место, окрашенное красною краской,
фашист подрастающий, поднявшись на стуле,
перечеркнул на карте указкой.

Им преподали идею блицкрига,
и полезли в сумасшедшем азарте
фашисты подростки с громом и гулом
Родину нашу перекрасить на карте.
Но то, что на карте было просто землею,
оказалось

нашей Родиной милой,

полем боя

лужок оказался зеленый,
точка — крепостью,

холм — фашистской могилой.

Урок географии справедливый —
для школьников от Адольфа до Фрица,
и ранцы их, брошенные сиротливо,
и каски, успевшие в земле утопиться...
Сколько неба над нами проплыло!
Сколько девушек улыбнулось с приветом!
Ведь это же девушки Родины милой,
наши сестры, —

ты подумай об этом.

Не знал я,

что здесь вот домик построен,
а тут журавль наклоняется над колодцем,
и гуси, переваливаясь, движутся строем,
у калитки девушка засмеется.

Не знал, что через тысячи километров
такая же степь развернула просторы
и люди, заслоняясь от ветра,
чтоб увидеть нас, выйдут на косогоры.
О, как это здорово, Сема!

И я не могу волнения пересилить,
когда молдаване на языке незнакомом
спрашивают об урожаях России.
О Родина!

В охотничьем чуме,
в соленом мареве Кара-Бугаза,
в тесной заснеженной чаще угрюмой,
на вершинах снеговерхих Кавказа!
Родина — золотой Украиной!
Отечество — белорусским селеньем,
родинкой маленькой на щеке у любимой,

неразрывна ты с моим поколеньем.
Родина! Ты — учитель Остужев,
вдова Селезниха на железной дороге,
жена, проводившая мужа,
мать, меня поцеловавшая на пороге.
Отечество! Ты — наш Вася бессмертный!
Ты — Сема у орудия в шлеме,
ты — Сережа, товарищ наш верный,
ты — Тамара, чистая перед всеми,
ты — Люба!

Мы дойдем до победы!
Все наше счастье к тебе возвратится.
Свобода
 за нами
 продвигается следом.
Сема, слышишь, мы дошли до границы!

Тетрадь восемнадцатая

НА ГРАНИЦЕ

Ветер метельный ползет за рубашку.
Танк ревет, землю забрызганный ржавой.
Я, из люка поднимаясь над башней,
вижу землю иностранной державы.
Здесь затихло,
 уже не слышно ни пули.
Вездесущая постаралась пехота.
Без остановки мы к реке повернули,
чтобы у переправ поработать.
Танки плывут по земле непролазной
мимо немцев, от дороги отжав их.
Они, заляпанные снегом и грязью,
устремились к иностранной державе.

Река заблестела впереди полукругом,
на мосту копошится кипящая масса.
Ломятся, оттесняя друг друга,
как мальчишки после уроков из класса.
— Осколочный! —

Я застыл над прицелом.
— Не стреляй, — останавливает Семка, —
не уйдут они.

И мост будет целым.
Пригодится! — говорит он негромко.
На той стороне поднимаются в гору
фашисты торопливою вереницей.
— Вот жалко, уйдут они, — говорю я башнеру.
— Не уйдут,

мы догоним фашизм за границей!
— Мы дальше пойдем, — заявляет Нехода.
Коля-радист подтверждает:
— Не скоро до дома!
— Фашизм уничтожить везде —
нам диктует свобода.

Народы томятся там, ждут нас..
— И наши там, Сема!

— Эх! А мы не курили с рассвета!
И не ели два дня, сказать бы начпроду! —
смеются танкисты, вдруг вспомнив об этом,
и вдыхают весеннюю непогоду..
ГСМ¹ подвезли.

— Заправляйтесь, ребята! —
(«Значит, верно, в дороге!» — подмигиваю
я Семе.)

И слышу взволнованный голос комбата:
— Один — по фашистам! По уходящей колонне!

¹ Горюче-смазочные материалы.

— Есть! — говорю я и прикипаю к прицелу.
Все наше счастье должно возвратиться!
Выстрел вырвался облаком белым.
Взрыв заklubился,

но уже за границей...

— Где взяли? —

с танка спрашивает их Сема.

— На берегу, там вон, за деревнею, были.

Присели и раскуривают, как дома.

Плот связали. Ночью бы переплыли!..

— Правильно действуете, пехота, —

говорю я, высовываясь из люка.

— Вот этот сутулый —

и вести неохота —

сержанта он поранил, гадюка. —

Автоматчики остановились у танка;

— Курить у вас не найдется, танкисты? —

И сутулый тянется к Семкиной банке.

— Тоже хочешь? К Адольфу катись ты! —

Фашист руки за спину спрятал.

Сема банку открыл, загремел нарочито.

— Вы вот этого нам удружите, ребята.

Я хочу говорить с ним.

Мне его поручите.

— Нам некуда, брось ты, не пушу на машину...

— В музей бы,

чтоб знали,

что были когда-то! —

Автоматчики выдвигают причину:

— Мы не можем без разрешения комбата.

— Ну что же, ведите.

Вот дорога короче.

Этот — самый зловредный? —

толкнул он коробкой. —

Фамилия? — спрашивает он, между прочим.
Немец — мимо.

Я подумал: «Не робкий!»

— Пстой-ка, пстой, —

Сема взял его крепко.

— Да брось, — говорю я, — зачем тебе надо?

— А может, мне надо для истории века
знать фамилию последнего гада!

— Последний на нашей земле,

я не спору... —

Семен документ у него берет из кармана. —
Вот письмо из Германии,

Эгонт Кнорре...

— Эгонт Кнорре! Неужели? Вот странно!—

Я с машины слетаю, торопясь от волненья,
и глазами в глаза ему,

и гляжу я, сверяя

с ним

того,

кто в тревожные дни отступленья
нас ненависти научил у сарая.

— Что случилось? — спрашивает меня автоматчик.

— Этот Эгонт — мой знакомый, ребята.

Оставьте, — прошу я. —

Выполняем задачу,

мы не можем без разрешения комбата.

— Ну что ж, — говорю, — посмотрю хорошенько.

Эгонт, Эгонт! Вот свела нас граница!

Ты помнишь, у Брянска была деревенька?

Эгонт, ишь ты, как успел измениться!

Вот бы увидели Сережа и Вася.

Эгонт, видишь, наступила расплата!..

— Мы доложим о выполнении задачи,
тогда и допросите, с разрешенья комбата.

— Далеко батальон?

— Да вот, двести метров.

Мы идем прямо ветру навстречу.

Эгонт, качаясь от резкого ветра,
пригибает сутуловатые плечи.

— «Навозные люди» — это сказано вами?

В сорок третьем были в отпуске дома?

Вы хотели нас сделать рабами?

Вас будет судить ваша пленница Тома!

По-немецки я, правда, говорю плоховато,—
понимаешь меня? —

Он дрожит весь, зеленый...

— Ну, пришли мы. Вот хатенка комбата.

Доложим ему... —

Остаемся мы с Семей.

Враг сидит перед нами. Вечереет. Сидим мы.

— Кури! — Эгонт руку протянул оробело. —

Не стесняйся, закури, подсудимый...

— Танкисты, зайдите! —

Мы заходим.

— В чем дело?

— Товарищ комбат! Вот фашист...

— Ну и что же? —

Я комбата не вижу, в избе темновато.

— Товарищ комбат! —

Он поднялся.

— Алеша?!

— Сергей! —

Я обнял дорогого комбата...

ВТОРОЙ ФРОНТ

Урок географии на поле сраженья!
Мы изучали Отечество не по карте.
Родина моего поколения
в стуже — зимняя, полноводная — в марте.
Мы изучали Родину с оружием вместе.
Окопы — как парты, поставленные умело.
Враг,
 увиденный через центр перекрестья, —
фашизм,
 изученный через прорезь прицела!

Вчера этот город мы заняли с марша
и слышали новость,
 ту, что ждали три года:
союзники — на побережье Ла-Манша!
— Фронт второй открывается!

 Поздравляю, Нехода!
— Спасибо. — Семе поклонился водитель. —
Торговцы спасают фашистские банки.
Капитализм попросил их: «Спасите,
а то попаду под советские танки!..»
Мы идем по улице иностранной.
Ветер раскрывает листья у кленов.
Березы, обдутые свежестью ранней,
застывают вдоль домов изумленных.
Прохожие окружают нас тесно.
Устремляясь за Неходой плечистым,
парень, мой иностранный ровесник,
руку поднял и сказал:

— Смерть фашистам!

— Смерть фашистам! —

пролетело вдоль улиц.

— Да здравствует наша свобода! Свобода! —
К нам руки и цветы потянулись...

— Ты видишь, — говорит мне Нехода. —

Люди — все ближе, и слева и справа.

Слезы радости собираются комом.

— Слышишь, Алеша, нашей Родине — слава!

Слава свободе на языке незнакомом...

Родина молодой нашей жизни!

Крепки наши светлые узы.

Счастье,

что мы вернемся к Отчизне,
здоровствовать в Советском Союзе!

Возьми обыщи всю планету —

не найдешь столько солнца и света.

Красивее наших девушек нету,

пусть каждая будет солнцем одета!

Идут они, гордый шаг отпечатав,

без мозолей от деревянных ботинок.

О, наши дорогие девчата

без химии иностранных блондинок!

Отчизна — умытая реками чисто!

Травы — сквозь поляны пожара.

Родина — в рукавицах танкиста!

Родина — в очках сталевара!

Да здравствуют дóма наши ребята,

у станков, на стадионах зеленых!

Да здравствует, юным солнцем объято,

Отечество и свободу влюбленных!..

— Смерть фашизму! —

слышится по окрестностям.

Флаги мира полыхают из окон.

Люди в штатском, прижимаясь к оружию,

идут за нами в ликование глубокое.
— Вот он, смотрите, — говорю я, — ребята,
не то, что спланирован по заданию банкира
для новых войн, шантажа и захвата,
вот он —

фронт второй —
ради мира!

Вот он —

фронт второй.

Вы смотрите:
открыт он силой плана иного,
помимо замыслов Уолл-стрита и Сити.
Открыт он

и не закроется снова!

Линия фронта

между светом и тьмою,
между свободой
и фашистской неволей.

Между миром пролегла

и войною,
между счастьем
и позорною долей.

Фронт трудящихся —

против стен капитала,
он идет

между двух противоположных Америк.
Он Англию расколол небывало.
Он уже высадился на вражеский берег!..

Мы идем по улице иностранной.
Ветер раскрывает листья у кленов.
Березы, обдутые свежестью ранней,
застывают вдоль домов изумленных.
Мы идем среди веселого водоворота.

Сквозь толпу пробирается парень.

— Ребята! —

подталкивает к нам в жилетке кого-то. —

Вот этот торговец эсэсовца спрятал...

— Разберитесь вы сами... —

Паренек озадачен.

А торговец мне на ухо шепчет угрюмо:

— Золото есть!

Жить начнете богаче,

справите сразу по десятку костюмов... —

Сема вдруг срывается с места:

— Костюмы?

А вот он,

хотя он измятый,

смотри-ка. —

Он гимнастерку трясет. —

Всем известно,

что я самый, самый в мире богатый!

Цвет какой!

Это цвет России в июле,

цвет наших морей, цвет весенней пшеницы.

От него отскакивают ваши пули,

только на мне он такой —

во всей загранице!

А шляпа!

Вы, господин, только гляньте. —

Сема танковый шлем поднимает над нами. —

Фашисты, меня увидав в этой шляпе,

приветствуют

поднятыми руками.

А ботинки! —

Сема выставил ногу. —

Посмотрите:

разве есть такие в продаже?

Сколько прошли они —

и готовы в дорогу,
и пойдут еще, если Родина скажет.

А это что, по-вашему, за тесемка?

Обратите внимание, —

он похлопал обмотки, —
фашизм начнет притворяться ребенком,
когда эта лента
обернется у глотки.

Мой костюм знаменит!

О нем история скажет.
Счастье народов за ним начинается следом.
Значит, дорог он, костюм мой, если даже
такой же самый,

как мой,

надевает Победа!

Понимаешь, торговец? —

спрашивает Семка.

— Да он не смыслит в этом, где ему разобраться!

— Ну, богачи, — говорю я, — идем-ка.

Товарищи,

помогите ему разобраться в богатстве... —

Нехода добавил:

— Мы идем не за этим,
свободой

золото народов зовется.

Ценности большей не существует на свете,
свобода

не покупается и не продается!

Их не подкупишь! —

На людей показал он. —

Золотом вашим овладеют и сами,
землей и заводами,

всей едой и металлом.

Эти люди уже не будут рабами!
Ты для новой войны фашиста припрятал,
чтобы перед тобой снова люди согнулись?!
Ведите его на суд народный, ребята!..
— Смерть фашизму! —

загремело вдоль улиц.

Мы идем по улице...

С перезвоном
котелков об оружие,
с нарастающим шумом,
идут и идут непрерывной колонной
советские люди в светло-зеленых костюмах.

Тетрадь двадцатая **ГОД СПУСТЯ**

Мы в гости к Сереже идем, ведет нас Нехода.
«Это ты?» —

«Это ты разве?» — разговариваем глазами.
Тысяча девятьсот сорок пятый. Окончание года.
— Вот как съехались!

— Вот как! —

удивляемся сами.

Мы с Тamarой идем, Люба с Семой — за нами.
Он карточку показал мне:

— Похожа? —

и снова спрятал в кармашек под орденами.
— А Тамара? — кивнул я...

— Вот Кремль! — остановился Сережа. —
Вот звезды! Смотри сюда, Сема.
Кремлевские звезды! Не верится даже.
Давайте посмотрим...

— Мы вернемся из дома, —
вот он, Сережин переулок Лебяжий.

— Хорошо.

Мы вернемся, —

а сами ни с места.

Ворота Кремля освещены, стоят часовые.

Елочки маленькие вдоль высокого въезда.

Из-за зубчатой стены светят звезды живые.

«Родина, — думаю я, —

мы пришли к тебе, твои знаменосцы,
под Москвой закаленные,

воспитанные у Сталинграда.

Мы, выполняя приказы твои,

научились бороться.

Да, это мы, солдаты стального отряда.

Если надо, зови нас —

в любую дорогу готовы.

Если кто-то мир опять подожжет,

если это случится, —

позови нас, Отчизна,

мы станем по первому слову!

Сема наш остается у нашей границы».

«Родина! — думаю я, сердцем дрогнув. —

Мы пришли на свиданье к тебе, дорогая Отчизна.

Слышишь нас:

все тебе посвящаем дороги.

Наша клятва в любви к тебе —

возвращение к жизни!..»

— Какое сегодня? — Тамара спросила.

— Какое?

Двадцать девятое, Тома. А что?

И Люба про то же.

— Да что вы взялись, число не дает вам покоя...

— В самом деле, какое? — смеется Сережа.

— Постой, ты не знаешь, — улыбается Сема, — двадцать девятое октября — что за дата?

— Не знаю, не знаю... А впрочем, знакомо...

— День...

— Я вспомнил, понимаю, ребята!

Двадцать семь, — говорю я, — немало!

Жалко, молодость уходит, ребята.

О годы, начинайтесь сначала,

возвращайтесь, возвращайтесь обратно!..

— Постой, —

Нехода встает предо мною. —

Наша юность послужила Отчизне!

Подумай, мы сделали самое основное,

мы совершили самое главное в жизни!

Мы вынесли тяжесть утрат и ранений,

тяжелой дорога была и кровавой,

но мир,

светлый мир наш,

судьбу поколений,

от войны отстояли мы

битвою правой.

— Да, друзья дорогие, смотрите,

нас будут помнить сердца поколений.

Наша свобода — величайшее из открытий!

Дорога к миру — лучшее из направлений!

— Ну, давай поцелую, на мир и дорогу! —

Сережа улыбнулся искристо.

— А все же двадцать семь — это много, —
говорю я. —

И откуда взялись-то?!

— Я предлагаю, — руку вымахнул Сема, —
уж раз эти годы не заметила юность,
поскольку нам некогда было,

нас не было дома,
предлагаю,

чтобы годы вернулись!

Эти годы не в счет, что Гитлер украл их,
четыре года —

в огненной круговерти.

Мы отстояли на юность вечное право,
продолжение лет —

с мая сорок пятого мерьте!..

— Правильно, Сема! —

Мы начинаем смеяться.

— Сколько Сереже с Неходой?

— Идет двадцать пятый.

— А Семе?

— Семе как раз девятнадцать!

— Сколько Васе было бы?

— Двадцать первый, считайте.

— Тамаре — двадцать два минус четыре.

— А Любе?

— И Любе тогда восемнадцать...

— Юность наша продолжается в мире! —

Эти годы нам в труде пригодятся!

Да здравствует наша мирная юность,

счастье и молодость в семье миллионной!

Мир и свобода к нашим людям вернулись!

Признаемся в любви —

жизнью всей окрыленной, —

признаемся в любви
и клянемся перед дорогой
мы тебе — наш народ,
наш Советский Союз,
дорогая Отчизна!
Продолжается наступление наше —
с партией в ногу,
нам идти и идти —
к счастью,
к маяку коммунизма!..

1944—1950

ГОДЫ

ПОИСКИ¹

...В 1922 году в Астрахани от холеры умер отец — Кузьма Ефимович Луконин. Смутное воспоминание о его смерти в саду, о похоронах в Китлинчах. Помню его руки.

Потом — первая в жизни дорога, по Волге на колесном пароходе в родное село моих родителей Быковы Хутора. Неотрывно глядел вниз, в машинное отделение, где, поблескивая громадными кулаками, машина крутила вал. В проходе стояла наша лошадь и хрупала сеном — единственное наше богатство.

Жуткая бедность в голодающем Поволжье. Мать Наталью Ефимовну избрали делегаткой; ездила в Камышин на слет женщин. Ходила в красной косынке.

Летом в доме еще ничего, но зимой подоконники были окованы льдом.

Выехали на отруба — комбед нам нарезал земли, помог вспахать и засеять арбузы; земля супесок — края знаменитых быковских арбузов. В то лето мне было уже лет пять.

¹ Печатается в сокращении из раздела «Заметки о поэзии». См.: Михаил Луконин. Избранные произведения в 2-х т., т. 2. М., Худож. лит., 1973.

Однажды, захватив ножик, чуть свет я отправился на нашу бахчу. Был конец июля — по всему полю весело поблескивали маленькие арбузята.

Я начал с края, шел от плети к плети, вырезал треугольничек и подымал острием ножа. Опять белый! Затыкал и шел дальше. Так мечталось о красном!

Весь день я продвигался по бахче, метил незрелые арбузы и шел дальше, пока не заметил закат — он дразнил своей спелой арбузной прохладой...

Это было горе и слезы матери и сестер, безысходная боль и отчаяние, — никогда не забуду этого!

В школу я попал случайно. Пыльное жаркое лето 26-го года прошло. Все дни я проводил то в степи, то на Волге. На берегу громадными пирамидами были сложены отобранные мерные арбузы — «верхушка». Прямо к берегу подходили небольшие баржи — дощаники. Женщины, расставленные цепочкой, перекидывали арбузы с рук на руки, пока они по рукам не доходили до трюма. На эту погрузку на целое лето нанимались мать и старшая сестра. Другая сестра целиком была занята моей младшей двухлетней сестрой, а я был вольным казаком, — с пристани нас сгоняли, зато берег и базар на берегу были в нашем распоряжении.

Мы встречали и провожали пароходы; они приходили откуда-то, отдавали ощущением неведомой жизни и уходили опять в неизведанную даль и долго еще оставляли после себя пласты белопенных волн.

Хотя я уже в прошлом году чуть не утонул, — вытащили меня вовремя, — я все же опять не устоял в это лето, отошел от пристани, нашел пустынное место и бросился в воду. Меня понесло, я терял силы и стал окунаться, понимая, что случилось не-

поправимое. Еще раз меня потянуло вниз, я коснулся ногами дна и бешено «побежал» по дну, теряя сознание. Вдруг меня обдало солнцем, я рванулся еще раз и упал головой в песок. Меня рвало, потом наступало забытие, я снова приходил в себя, пока не нашел силы встать и, шатаясь, пойти по земле.

Так я в то лето спас самого себя, но до того испугался тогда, что сейчас впервые рассказываю об этом. Но что значит — выбрать правильное направление!

Лето отошло, начались заморозки. Мы, младшие, втроем, все чаще и чаще стали возвращаться в свое гнездовье — на печку, где и выросли. В доме уже стоял холод, а мы все босые. Старшая сестра устроилась в няньки к механику паровой мельницы, мать с работы приходила только вечером, хозяйкой была Зина, на два года старше меня. Она не ходила в школу — не в чем. Мать часто плакала обо мне: я в этом году должен был учиться, но и я был раздет и разут.

В начале ноября мы уже разглядывали морозные узоры, продышали в стеклах себе смотровые глазки и, сколько было можно терпеть, глядели на улицу, на густые хлопья первого снега, на сверстников, катающихся на ледышках. Потом, отогрев ноги на печке, опять бежали к окну.

Однажды мама пришла веселой и сразу от порога крикнула:

— А ну, Минь, слезай!

Я спрыгнул с печки, и в руках у меня оказались валенки. Один черный, другой белый. Я обулся.

Черный был немного подпален, но белый прямо сиял новизной.

— Сгорела валяльня, а эти два целехонькие, вы-просила. Носи!

Кто-то дал пиджак, шапку сшила мама, и вот я первый раз в школе. Моя гордость — черный и белый валенки — вызвала сразу неприязнь и зависть одноклассников, и на переменах я часто оказывался в основании кучи малы, пока во мне не вскипело самолюбие.

На юбилейном моем вечере в Волгограде Маргарита Агашина подарила мне чашу с осколками войны и два — черный и белый — валенка. Чтобы помнил и не забывал!

Наверно, в третьем классе нам задали выучить отрывок из Некрасова. Лежа на печке, я повернул к свету книжку и читаю: «И буду свой крест до могилы нести...» Остановился на этом, отложил книгу и долго недоумевал, представляя себе буквально эту строку. Года три после этого я относился к поэзии с большим недоверием.

Мне посчастливилось в том отношении, что забываемые уроки и впечатления детства связали меня с заволжским селом Быковы Хутора, с людьми земли, с природой Волги. Юность прошла в рабочем поселке Тракторного завода, в рабочей школе и в самой среде рабочих.

Две войны, которые потом выпали на мою долю,

расширили круг интересов; жизнь в литературе, большие дороги дальнейших лет раздвинули мир. Но в сердце так и остается заволжская степь и завод над Волгой. Часто я бываю там, — тоскую без этого.

Свою связь с истоками жизни я ощущаю как свое творческое счастье.

Юношеские планы на жизнь я связывал со спортом. Первое, что я написал стихами, — поэма «Футбол». Написана она была на чековом рулоне, — мать тогда работала кассиршей, — и я помню, как мы читали поэму на стадионе; мне доставляло большое удовольствие разматывать длинную ленту.

В конце концов поэзия взяла верх во мне, она потребовала полной отдачи.

Друзья мои стали мастерами спорта, а теперь уже отыграли свое, тренируют молодежь. «Правильно сделал, что ушел от нас; чем ты старше становишься, тем тебе лучше, не то что нам», — говорят мне иногда друзья. Я не скрываю от них, что и мне хуже, и я чем старше, тем старее.

Я всегда благодарен своему началу, горжусь друзьями, обязан им заповедью, рожденной спортом, но очень близкой к поэзии: «Чем больше бережешь, тем меньше остается».

Я учился в седьмом классе в школе Тракторного завода. Посещение заводского литературного кружка, собственное упоенное писание стихов обратили меня к чтению поэзии. Читал новых для меня поэтов, перечитывал знакомых уже по школьной программе. Так я возвратился к Некрасову.

Не имея возможности покупать книги, я брал их в библиотеке и ночи за две-три переписывал их целиком в свои самодельные тетради. В таких «томах» у меня были и Пушкин и Лермонтов, был почти весь Багрицкий.

А Маяковского все не было. Сейчас не могу понять, почему его не было: виновата ли в том школьная программа, или преподавательница литературы, или просто обстоятельства? Не было и Блока.

Я очень люблю свою школу при Тракторном заводе, многому хорошему учила она. Только уж после я долго досадовал на нее за некоторые оловянные устои формулировок, вроде: «Маяковский — футуризм, футуризм — Маяковский» или «Блок — символизм, символизм — Блок».

Потом уже сама жизнь распахнула книги, объяснила стихи, отшелушила ярлыки, и тогда Маяковский стал Маяковским, а Блок — Блоком.

Поэта надо рассматривать в связи с конкретной исторической обстановкой, но эта простая истина почему-то иногда в литературоведении используется не для того, чтобы выяснить самые передовые устремления поэта, а для того, чтобы уличить поэта в том, что еще влияло на него или могло влиять. Так и рождаются железные капканы формулировок.

От литературоведения это идет к школе, где до сих пор еще, к большому сожалению, вместо того чтобы читать стихи, прививать любовь к ним, долго объясняют их, анализируют, раскладывают на предложения, преподносят как бутылку с соской. Надо,

чтобы преподаватели литературы сдавали в институтах экзамены на любовь к поэзии.

В литературном кружке занимались многие начинающие поэты, но мы, ученики одного класса и сверстники — Сергей Голованов (сейчас живет и работает в Тамбове), Николай Отрада, погибший на войне с белофиннами, и я, — особенно дружили. Мы задыхались от отсутствия «тем». «О чем писать?» — спрашивали мы друг друга. Обо всем уже написано: о звездах, о луне, о ветре, — все уже описали, все уже «сравнили» поэты до нас. Повторение названия, уже бывшего у других поэтов, такого, например, как «Утро», «Встреча», считалось у нас кражей. С другой стороны, завод, который мы хорошо знали и любили, не представлялся нам темой.

О чем же писать?

Однажды ночью ко мне «на огонек» пришли Сережа и Коля; как-то торжественно протянули лист бумаги и стали на плите разворачивать географическую карту. «Соглашение» вещало, что мы, нижеподписавшиеся, делим между собой темы: Сереже — север: вечные снега, олени, северное сияние, торосы, белые медведи и пр.; мне — темы центральной части страны, с дождями, реками, степями, полынью, ветрами; Коле — юг: моря, лимоны, пальмы, эвкалиптовые леса. Помню, мы очень хвалили Сережу за эту инициативу, подписали «соглашение» и спрятали карту, на которой были очерчены границы наших «тем».

На каком-то вечере в заводском клубе артистка самодеятельности однажды объявила: «Владимир Маяковский». Стихи насторожили меня, заволновали. После этого я сам стал читать Маяковского. Прежде всего эта поэзия пошатнула мое убеждение, будто

в стихах обязательно что-то сравнивается с чем-то: луна — с куском арбуза, лунная дорожка на воде — с вымпелом и т. д. Большое впечатление на меня произвела свобода интонации, ритм. Стихи были похожи на горячий спор, они убеждали в очень важном и необходимом, будоражили, придавали смелости. А главное, они незаметно решили для меня мучительный *вопрос поисков* «темы», объяснили, что поэзия — это то, что ты думаешь и видишь. Вскоре я написал о том, что

Мы Перекоп с тобой не штурмовали...
За нас ходили конники-отцы...

Эти стихи были напечатаны в пионерском сборнике. Я будто бы и нарушил наше «соглашение», но не переступил «границы», отведенной на карте. Так начался разговор о себе. Маяковский открыл мне безграничную широту поэзии, самую ее суть, и я, не умея писать, тогда, в те дни незабываемого первого знакомства с Маяковским, впервые ощутил потребность в поэзии и ее неодолимую силу притяжения...

...Мы съехались со всех концов страны в Литературный институт имени Горького. Сергей Смирнов из Рыбинска, Яшин из Вологды, Кульчицкий из Харькова, Михаил Львов с Урала, Майоров из Иванова, из Киева Платон Воронько. Потом из другого института перешли Наровчатов, Слуцкий, Самойлов.

Осенью 1939 года я привез в Москву Николая Отраду. Ходил с нами добрый и большой Арон Копштейн. Коридоры гудели от стихов; стихи звучали в пригородных вагонах, когда мы возвращались в общежитие.

Мы бушевали на семинарах Луговского, Сельвинского, Асеева и Кирсанова, сами уже выступали на вечерах и уже затевали принципиальные битвы между собой. Это была пора опытов, исканий, мятущаяся пора нашего студенчества, пора неудержимого писания и любви.

С Павлом Коганом я сдружился как-то незаметно, сразу. Не то чтобы мы с ним виделись ежедневно, не то чтобы не могли обойтись друг без друга, но каждая встреча с ним оставляла след. В нем была одержимость, пылкость, — вот уж кто действительно горел. Он знал многое, и до всего у него было дело; он брался и за то, в чем даже и не был силен, — так было и при первом нашем знакомстве.

Черный, с быстрыми, близко посаженными к переносице глазами. Начитанный, с чувством превосходства и мальчишеской запальчивостью.

Началось с того, что когда я был в доме у Анисима Кронгауза, — мы учились на одном курсе, — к нему пришли Павел Коган и Кульчицкий, потом Отрада и еще кто-то. Здесь, на Малой Бронной, часто можно было видеть наших студентов, — всех нас подкармливала добрая мать Анисима — Эсфирь Александровна.

Кто-то затеял состязание по поднятию крупной гантели на вытянутой руке. Надо сказать, что я был подготовлен к этому лучше других. Худой, остролицый Павел Коган долго оставался один на один со мной, пока не опустил руку. Он побледнел от досады. Потом отошел и помягчел, зазвал к себе домой около улицы Правды; в эту ночь я ночевал у него в доме. Этой ночью он прочел мне все стихи, которые и со-

ставляют сейчас его прекрасную незавершенную поэзию.

Миша Кульчицкий, как только я увидел его, понравился мне тем, что очень был похож на поэта, был всегда со стихами, всегда говорил о стихах. На лестничных площадках института, сидя на подоконнике во время перемен, он читал и слушал стихи и требовал: читай новое — на улице, когда мы шли по Тверскому бульвару, во время обеда в милицеской столовой рядом с институтом (была такая столовая), где нас не любили именно за нарушение тишины, в трамвае, в метро, в пивном баре на улице Пушкина.

Вот эта его наполненность поэзией поражала, — он был отрешен от внешних неудобств, от того, где сидел, что ел, в чем был обут, во что одет; не помню, чтобы мы говорили на эти темы. Другое дело — война с белофиннами, с которой я вернулся тогда; другое дело — смерть Николая Отрады и Арона Копштейна в бою, — он знал их; другое дело — надвигающаяся тень фашизма и предчувствие смертного боя, который мы ожидали тогда. И — поэзия.

В то время, оторванные от родных, — он был из Харькова, я из Сталинграда, Коля Майоров из Иванова, — мы испытывали большую нужду. Я знал, что он зарабатывает случайными уроками, ботинки его «просят каши», а поход в столовую требует больших подсчетов, — он при этом закатывал вверх большие добрые глаза и шевелил губами. Но все это было, как шутка, со смехом. Мы в этом были все одинаковы, и всех нас спасала поэзия. Мы жили трудно, но неповторимо хорошо.

Его стихи были очень заметны в нашем кругу,

хотя в этом кругу были настоящие поэты — Александр Яшин и Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов и Михаил Львов, Юрий Окунев и Давид Самойлов, Павел Коган, Николай Майоров и Николай Отрада. Он был очень самобытен в интонации, в краске. Мы были уверены в его большом поэтическом будущем.

Для меня он и остался таким — новой волнующей поэзией моего поколения.

На первую свою войну мы ехали в холодной «теплушке» через Медвежьегорск.

К печурке приник дневальный,
Тих и задумчив он.
Единственный в целом мире
Качается наш вагон, —

шепталось под стук колес. Поражало все: прелесть мальчишеского быта, вязаные подшлемники — в них дышалось тепло и влажно, так что снаружи нарастали морозные бороды.

Свесившись с нар, Арон Копштейн предложил: давайте потянем жребий!

Нарвали полоски бумаги, написали «жив», «убит», «ранен», туго скрутили дольки и ссыпали в чью-то каску. Я вытащил второй номер, но совершенно не верил в это и смеялся, как никогда.

Ночью пришли строчки.

Такая летняя погода,
Такие сосны на ветру,
Такая родина у сердца...
Вот почему я не умру.

Дальше, от Медвежьегорска, ехали в грузовике так тесно, что нельзя было переменить позу. Минус пятьдесят! Я шевелил пальцами, толкался, боролся за себя. Когда остановились, несколько человек отправили обратно с обморожениями.

Мы с Колей Отрадой сидели на валуне, прощались, сняли смертные медальоны с нашими адресами — показывали друг другу. Нас разбили по разным эскадронам — так почему-то тогда назывались роты.

Потом уже я обнаружил, что мы нечаянно поменялись медальонами, за что своими слезами, получив извещение, расплачивалась моя мать.

Было очень холодно и очень тяжело, но и тут, при случайных встречах, опершись на лыжные палки, мы читали друг другу стихи. Нас разбили по разным лыжным эскадронам, и мы виделись редко.

По нашему эскадронному «расписанию» я был «наблюдателем». Помимо прочего, в мою обязанность входило каждое утро ходить в штаб батальона за сводкой и за газетой. Помню: бежал обратно — километров пять — и все же останавливался где-нибудь у сосны прочитывать очередной выпуск «Васи Теркина» — веселого собрата знаменитого впоследствии Василия Теркина в поэме Твардовского.

Поэзия не покидала нас в эти дни.

Однажды мы ушли в ночной рейд, подожгли шюцкоровский склад боеприпасов, разгромили тыловую часть. В этой заварухе я нашел в одном из блиндажей патефонную пластинку. Не знаю, каким образом мне удалось принести ее целой. Отоспавшись, мы нашли патефон и торжественно поставили пластинку. В блиндаже было тесно. Сначала зашумело, и вдруг началось:

Я не стану тебя огорчать...

Мы были смущены, потом блиндаж разразился хохотом. Стоило нести ее двадцать километров! Как попал к нашим врагам автор этой песни Альвек, напи-

савший в свое время книгу о Маяковском «Нахлебники Хлебникова».

В эти дни Маяковский вспоминался все чаще и чаще.

Упал в бою на озере Коля Отрада; погиб от разрывной пули «дум-дум» Арон Копштейн: он полз, чтобы вынести из-под огня Колю.

Первые герои, первые потери нашего поколения. И опять бои. А все время думалось о том, как выразить свое поколение...

И все время в сердце закипали стихи Маяковского, они формулировали чувства и мысли, окрыляли своей философией, заряжали пафосом жизни.

Здесь особенно очевидными стали для меня свойства поэзии Маяковского: активный характер его стиха, любовь поэта к обобщению, определенность взгляда. Стала ясной мелочность и обыденность моих юношеских стихов: я понял, что из-за незначительного, неясного чувства, из-за мелкого наблюдения, которое еще не пригодились мысли, не совпало с ней или не стало мыслью, настоятельно требующей выхода, не родило поэтическую задачу, — из-за одного этого не стоит беспокоить адъютанта командира батальона, просить у него чернильницу, не стоит изводить блокнот, присланный в подарок рабочими фабрики «Гознак», потому что такого рода наблюдения и заметки могут прекрасно остаться и ненаписанными. В эти сжатые дни, в которых не было лишних минут, можно было научиться ценить и время, и слово, и бумагу.

В то время я написал новые для себя стихи. Пять стихотворений — «Мама», «Наблюдатель», «Ночью лыжи шипят...», «По дороге на войну», «Письмо» — напечатал по возвращении в журнале «Знамя»

Было душно и угарно от горящего в Орле элеватора, но потом в окрестных селах мы пробовали хлеб из сгоревшего зерна, он был как мягкий уголь — нет, его невозможно описать!

Мы шли и шли, стреляли, залечивали раны, учились воевать, пока не поняли, что победа будет за нами, — мы сначала просто верили в нее, а потом уже были уверены в ней. Тогда я и записал:

В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой.

Это было исходным чувством.

Десятого октября 1941 года около деревни Негино нас окружили немцы. Мы выскочили из грузовика, и он тут же вспыхнул, как охапка соломы.

Кусочек леса у дороги, где укрылись мы, завьюжило и зашатало от бомбежки.

Стоял сплошной треск, было душно и тоскливо. Огонь перекидывался с ветки на ветку, земля вздрагивала так, что обнажались корни деревьев. Головой я почти касался шершавого ствола сосны и сквозь гать чувствовал ее сильный и живой запах.

Немецкие самолеты заходили вновь и вновь, расщепляя небольшой перелесок, в котором укрылись мы. Я уже задыхался от гари, когда услышал невдалеке:

— Кто за мной, выходи — ждать нечего...

Я поднял голову.

Над нами стоял человек в плащ-палатке и в фуражке с красным околышем.

— Нам надо пробиваться через деревню в лес, — сказал он. — Кто пойдет в разведку?

Помню фамилию третьего — Костин. Он нес ручной пулемет, когда упал от шквального огня немцев. Наровчатов и я кинулись через улицу за дома, в коноплю, зовя с собой остальных с комиссаром. В нас стреляли из пистолетов, и мы стреляли прямо в упор, но силы были неравны.

Мы уходили. Из конопли, стремясь к лесу, вырвались на перепаханную поляну и поползли под огнем. Между нами чавкали мины, больно ударяя брызгами мерзлой грязи, перед лицом вставляли фонтанчики земли, выковырянные пулями. Краем глаза я видел за дорогой серые каски, — немцы целились, поводили дрожащими автоматами, дрожали сами. А рядом поднимались, вскрикивали, падали люди, я полз и полз, не чувствуя сердца, и только видел впереди лесок, запорошенный первым снегом. Потом меня сильно дернуло за полу шинели, близко-близко заметил каску, и глаза, и автомат, наведенный на меня, положил голову на локоть и прохрипел:

— Что там?

— Кровь, — ответил голос Наровчатова.

Я уперся ногами, сделал усилие — ползу!

Живу! Надо жить! Я встал на колени, рванулся и упал опять, еще встал, еще упал, потом догадался, что под колено попадает планшетка, а ремешок на шее пригибает меня к земле. Сбросил планшетку, выпрямился и побежал, раскачиваясь, к лесу, упал, поднялся опять и бежал, пока не плюхнулся в ручеек перед самым лесом, перемахнул его полуплавом или полубегом и упал у сосны, чувствуя, как в левый сапог откуда-то сбоку стекает теплая кровь, и всем сердцем ощущая возвращение к жизни.

Ночью, тяжело отшагивая по направлению к Брянску, переключаясь с солдатами в темном шумящем лесу, я нашел Сергея и только тогда вспомнил, что в планшетке была фотокарточка матери, а в вещмешке на горящем грузовике была рукопись поэмы «Вступление».

И мы пошли за красным околышем батальонного комиссара, из шестидесяти нас осталось двадцать, потом в схватках и дальше таяла наша группа. В одном месте немцы еще раз окружили нас, схватили за руки комиссара, и он успел выстрелить в себя.

Эта осень была прощанием с юностью. Все это потом перелилось в первую часть поэмы «Дорога к миру» — много лет спустя...

...Осень 1942 года. Госпиталь в Ельце помещался в подвале старинного дома с толстенными каменными стенами. Мы лежали в комнате со сводами, и наверху, под самым потолком, мерцало окно, затуманенное осенней непогодой.

Что-то монастырское было в нашей палате, сумеречное и тягостное; мы все — двенадцать разных людей — томились и нервничали. Я один из всех мог вставать и передвигаться, держась за кровати, и как-то мне даже удалось подняться к окну.

— Что там делается? — оживились лежащие друзья.

И я стал для них описывать улицу, прохожих, проезжих. Чтобы было интересней, я стал придумывать, говорить о том, чего не видел на улице.

С этого дня я был обязан лезть к окну, и с утра у нас начиналось:

— А вон женщина с ведрами пошла за водой...

— Молодая?

— Как она выглядит? — засыпали меня вопросами.

— А вон прошел взвод. Падают первые снежинки. Голуби прилетели...

Мне почему-то очень помнится эта моя роль, она чем-то сходна с поэзией. Тут у меня и начало закипать стихотворение «Мои друзья», хотя написал я его значительно позже.

Тяжелы и мои военные утраты. В августе 1942 года во время первых налетов на Волгу погибла моя мать; в типографии «Сталинградской правды» сгорела в листах первая книга — «Стихи дальнего следования», в памяти осталось только название, я подарил его моей поздней книге (1956 год). Перед самой войной были написаны две поэмы: большая — «Пролог» — о нашем поколении на зимней войне, и «Поэма нескольких дней» — лирически-личная. Вторая была принята в «Знамя»; я забрал ее и, уезжая на фронт, отдал на хранение товарищу.

«Вступление», как говорилось выше, я положил в вещмешок и взял на войну. 10 октября 1941 года я был ранен у деревни Негино и видел, как пылала машина, подорванная миной, там и была поэма, но спасти ее я не мог.

В сорок третьем году мне выпало проезжать Москву, я затосковал о стихах и выпросил у товарища «Поэму нескольких дней». Мы ехали к Курской дуге, и где-то около Грязей у меня украли вещмешок и, наверно, сожгли с досады на то, что в нем только и были военные дневники и эта поэма. Евгений Долматовский, работавший перед войной в «Знамени», совсем недавно нашел в своем архиве

несколько страниц этой вещи, случайно оставшихся у него.

Как видите, у меня свои счета с войной...

...Летом 1943 года на Курской дуге я записал такие строки:

...чтоб замкнулось кольцо
призывающих рук,
как венок,
или нет, —
как спасательный круг.

Долго они кружились у меня в голове, пока не столкнулись с мыслью, не осветились для своей настоящей жизни в стихотворении «Пришедшим с войны» (1945):

Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.

Первое — маленькая правдивость, второе — правда, обобщение чувств. Это дороже.

Весной 1944 года, после трех лет войны, наша танковая часть вместе с другими войсками подступила к границе. После освобождения города Сороки (Молдавия) мы несколько часов стояли у моста через Прут и смотрели, как бегут, едут, ползут немецкие войска в Румынию. Потом наши войска двинулись в тот самый победный поход до Берлина, который принес свободу Европе.

А нашу гвардейскую танковую армию, которой командовал маршал Ротмистров, после прохода границы опять погрузили в эшелоны; мы ехали обратно,

через поля, которые проходили с боями, видели, как снова поднимается трава, отрастают ветви, пробивается жизнь.

Выгрузились под Минском, и опять в танки. Освобожден Минск! Вот мы и в Вильнюсе. Фашистская орда, огрызаясь, покатила к Риге. Идут тяжелые бои. А я все это время не могу выйти из странного состояния, захватившего меня дорогой, как будто я заболел, — днем и ночью видятся лица, слова сходятся в строчки. У меня действительно поднялась температура, и подполковник — мой командир — оставил меня «отдышаться» в домике на окраине литовского города Шяуляй, а танки направились к Риге.

Прошли с той поры десятилетия, а я все помню, как лихорадочно записывал строки. Первыми были те, которые вы сейчас читаете:

Лет восьми я узнал, что родился в России...

С этого и началась моя работа над поэмой «Дорога к миру». Добрая литовская семья кормила меня десять дней, а я, уснув часа на два, снова обращался к бумаге, спал урывками и снова садился к столу, не разбирая ни дня, ни ночи.

Когда явился в часть, поэма была закончена вчерне. Урывками я дописывал ее в каждую свободную минуту, а потом уже, когда мы вошли в Пруссию и погнали немцев к Берлину, меня командир оставил еще на неделю в догорающем после боя городке Остероде, где я опять ушел с головой в поэму.

Через неделю за мной приехали — наши были уже под Штеттином. Мы подъезжали к месту, когда я спохватился, что потерял вещмешок, набитый рукописями. Пришлось развернуться и ехать назад. По

дороге мы ходили по горящим городкам, заглядывали в дома, брошенные бежавшими немцами, — разве найдешь потерю? Сто, двести километров; город, еще город; дом, еще дом — и вот она лежит, моя поэма, на рояле в дымящемся доме!

Это было уже весной 1945 года, накануне победы.

Поэма «Дорога к миру» долго лежала у меня в рукописи, — я продолжал работу над ней. Потом уже, после поэмы «Рабочий день» (1948), я снова вернулся к этой поэме и только в 1950 году опубликовал ее в журнале «Новый мир».

После четырех лет грохота стояла такая тишина, что звенело в ушах.

Двенадцать дорических колонн, образующих Бранденбургские ворота, оббитых и обшарпанных густым огнем последней битвы, были исписаны автографами победителей. У походных красноармейских кухонь с посудой стояли в очередях немцы, заварившие кашу второй мировой войны. Старики робко просили закурить. Еще дымились кое-где развалины Берлина. А мы с утра в этот день с майором Плехотиным ездили по городу, искали парк Бельвю, и нашли его, и нашли в этом парке свежую могилку его сына — лейтенанта Плехотина, погибшего в огне последнего штурма. На могилках уже были положены кем-то цветы, а мы стояли с майором, безутешным отцом, над памятью его сына.

Это было 7 мая.

Когда мы вернулись в часть, я получил приказание выехать в Москву, и тут же вошел в крытый брезентом кузов попутного «студебеккера».

На окраине Берлина крупно виделась самодельная солдатская указка: «До Москвы 1965 километ-

ров». Я это теперь просто помню, — потом не проверил, верно ли я запомнил эту цифру. Вообще, сколько я ни ездил после войны по земле, мне не приходилось за все эти годы бывать в Берлине.

Мы ехали, как бы разматывая обратно четырехлетнюю дорогу к победе. Каждый шаг этой дороги полит кровью наших людей. Вспомнились друзья, которые не вернутся, вспоминалось все — день за днем; нарастало чувство необходимости рассказать об этом, зрела жажда творчества. Можете себе представить, что мы переживали в бессонные часы этой дороги.

Мы ехали без остановок, очень спешили, подменяли водителя. 9-го утром кто-то за рулем на секунду задремал, и мы влетели в кювет, но выбрались, зацепившись за громадную подмосковную сосну тросом лебедки.

А вот и Москва.

9 мая 1945 года.

И салют.

И толпы ликующих и плачущих людей на улицах.

Праздник Победы.

В один из этих дней я написал стихотворение «Пришедшим с войны»...

...Больше всего я ценю дружбу, выше всего ставлю ее. Бывало, и мне изменяли в дружбе, и это единственное, что я не могу ни понять, ни простить. Дружба живет в душе большой благодарностью, потому что она учила, возвышала, поддерживала в трудные моменты.

Все эти годы — дружба с замечательным поэтом и большим человеком — дядей Володи — Владимиром Александровичем Луговским. Все эти годы — от первого рукопожатия до сегодня — дружба с Ярославом

Смеляковым, одним из самых моих любимых поэтов. Многие и многие дни с Павлом Антокольским, с Константином Симоновым, с Василием Ажаевым, с Александром Кривицким. Встречи, стихи, совместные дороги обогащали душу, наполняли жаждой труда.

Незабываемая поездка на Дальний Восток с Александром Твардовским и Эммануилом Казакевичем. Стихотворные ночи с грузинскими сверстниками Иосифом Нонешвили и Ревазом Маргони, дорогой голос Расула Гамзатова — все в сердце.

Первый интерес к стихам молодых поэтов Евгения Винокурова, Владимира Соколова и Беллы Ахмадулиной и потом годы захватывающего наблюдения над их развитием, ростом, большие споры и даже битвы, которые также составляют дружбу. Радости, которые дарят таланты. Еще друзья — не поэты, не писатели, далеко и близко — всюду.

Я не назвал и десятой доли друзей. А еще наши друзья — друзья наших друзей.

Атмосфера дружбы поднимает на большее, что ты можешь. На этот счет надо бы подробнее поговорить с читателями, — существует превратное впечатление о писательской среде.

У меня, как и у вас, есть друзья всюду: на заводах и в колхозах, в спорте и в искусстве, — и каждому из них я чем-нибудь обязан.

Но есть у меня и такие друзья, которые всегда и навсегда со мной: это друзья по оружию, по биографии, по надеждам. В литературу мы приходили поколением, опоздавшим к боям в Октябре. Мы жаждали боя за Родину, и было предчувствие этого боя. За большую победу отдали жизни Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Коля Майоров — двадцатидвухлетние, красивые, талантливые, надежда поэзии.

Никак нельзя примириться с мыслью, что нет Алексея Недогонова, Семена Гудзенко, — мы вместе возвращались с войны и вдыхали весенний воздух Москвы, ходили целыми ночами, и нам не хотелось спать в тишине мира. И все стихи, и стихи, и стихи... А теперь — их одноклассники, перешедшие во владение их молодых потомков.

Немало у меня друзей, которые со мной всегда и всюду, — пока живу я, и они живы для меня...

...Не знаю, как другим поэтам, но мне необходимы дороги.

После войны я много ездил; ничего из того, что я написал в это время, не родилось «дома», в районе улицы Воровского.

Правда, почему-то и не бывало так, чтобы увиденное тут же выражалось в стихах, чаще всего это всплывало потом, «при случае». Мысль вдруг находила неожиданное воплощение в виденном прежде, обрастала художественными деталями, найденными раньше в разных местах. Так, в 1947 году я был в Баку, все утро ходил по незнакомому городу, взбирался на гору и видел работающих людей, с удивлением глядящих на мою праздность. Года через два, разозлившись на «южный» цикл стихов одного поэта, я вспомнил Баку, придумал происшествие с милиционером, задержавшим гуляющего лирика... Все, что я думал об этом, воплотилось в бакинские впечатления, в стихотворение «Поэт и домоуправ».

Так было и с другими стихами. Поэму «Рабочий день» от начала и до конца я написал в общежитии Тракторного завода зимой и весной 1947—1948 годов. Я ходил на завод в ночную смену, — у меня там

много друзей. Я и сейчас храню заводской пропуск и прикрепление к цеховой столовой. Месяца четыре я испытывал муку оттого, что не приходило ничего, ни строчки, а директор завода Макоед с любопытством поглядывал на меня при встречах.

Потом именно в этой столовой сборочного цеха ее директор Антонина Петровна рассказала как-то мне свою историю и поведала о сыне Дмитрие, погибшем в бою.

Я шел домой, и во мне уже так кипело, что я не видел ничего вокруг, уже нашептывались строки:

Слушайте сказку про мальчика Димку,
про лошадку его Пегаску,
про его шинель-невредимку
и про каску его — безопаску... —

а потом пошли дни и ночи, ночи и дни работы.

Так среди людей я нашел «Рабочий день» и «Дорогу к миру», «Признание в любви», этой последней я мучился очень долго, она давно начиналась, как чувство родной жизни.

...С самого начала меня тянуло к поэмам, это я испытываю и сейчас. Еще на войне во время боев за Прибалтику я в черновом виде набросал поэму «Дорога к миру». Вернувшись, поехал на родину в 1948 году и закончил «Рабочий день», потом в 1950 году завершил «Дорогу к миру».

Очень сложно для меня писалась новая поэма. Я отходил от нее, подступал к ней вновь, перебивал ее стихами, и она отпускала меня, как боль. Много раз я бывал в своем селе Быковы Хутора; были уже написаны две первые части, но в душе все не

складывалось ощущение выхода, эмоционального завершения той, дорогой мне жизни, о которой задумался я в этой вещи. И только зимой 1958—1959 годов в заснеженных Быковых Хуторах я увидел то, что искал: начало светать в моем родном крае, повеселели люди.

К весне я дописал поэму «Признание в любви».

Теперь опять стихи, дальние дороги, встречи. Заваривается замысел новой поэмы. Надо пробовать себя в большом, — поэма очень многое может.

Я знаю, есть читатели и критики, которые не воспринимают моих поэм; есть и те, кто вообще не воспринимает того, что я делаю, и того, как я пишу. Должен сказать, что с самого начала я и не рассчитывал на общее признание, знал, что популярным не буду.

Спасибо вам, тем, кто верит мне и ждет от меня нового, — мне очень хочется быть вашим поэтом. У меня есть что сказать вам и, думаю, есть еще некоторое время для этого...

МИХАИЛ ЛУКОНИН

1939—1972

СОДЕРЖАНИЕ

Фронтовые стихи	5
Поле боя	8
Мама	10
Письмо	12
«Ночью лыжи шипят: молчи!..»	14
Наблюдатель	16
По дороге на войну	18
Коле Отраде	21
Хорошо	24
Домой	25
В вагоне	27
«Получил письмо я: «Как живете?..»	29
«Перед боем на рассвете...»	30
В Ельце	31
«Гудит обиженный войною...»	33
«Иду. Решаю. Передумываю то и дело...»	35
Саше Щукину	37
Осень	39
Сказка	41
В затишье	43
Из госпиталя	44
Провожаящим	45
Дороги	47
Юность	48
Приду к тебе	50
«Ты в эти дни жила вдали...»	53
Шварцвальд	56
9 мая в Берлине	58
О мае	62
Пришедшим с войны	64
Мои друзья	66
Дни свиданий	69
Когда я пришел	71
Сталинградский театр	73
Дорога в Сталинград	76
Танк	80
В альбом знакомой	82
Пробуждение	84

У памятного дома	86
Воспоминание о 1941 годе	88
Обелиск	92
Первые дни	95
Парк Бельвю	97
Солдаты	99
Дорога к миру (поэма)	101
Годы	197

Михаил Кузьмич Луконин

ФРОНТОВЫЕ СТИХИ

Редактор Н. И. Нетесина
Художественный редактор Е. Ф. Николаева
Технический редактор И. И. Капитонова
Корректоры Н. В. Бокша, Т. В. Новикова

ИБ № 2316

Сдано в набор 04.08.80. Подп. в печать 25.12.80. А03054. Формат 70×90^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 8,19. Уч.-изд. л. 9,21. Тираж 25 000 экз. Заказ 618. Цена 1 р. 10 к. Изд. инд. ЛХП-128.

Издательство „Советская Россия“ Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Сортавальская книжная типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров КАССР. Сортавала, Карельская, 42.

MAXAMILIANSTADT